

Владимир
Набоков



CoRpus

Ада, или Отрада

18+

Набоковский корпус

Владимир Набоков

Ада, или Отрада

«Издательство АСТ»

1969

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Набоков В. В.

Ада, или Отрада / В. В. Набоков — «Издательство АСТ»,
1969 — (Набоковский корпус)

ISBN 978-5-17-139107-2

«Ада, или Отрада» (1969) — вершинное достижение Владимира Набокова (1899–1977), самый большой и значительный из его романов, в котором отразился полувековой литературный и научный опыт двуязычного писателя. Написанный в форме семейной хроники, охватывающей полтора столетия и длинный ряд персонажей, он представляет собой, возможно, самую необычную историю любви из когда-либо изложенных на каком-либо языке. «Трагические разлуки, безрассудные свидания и упоительный финал на десятой декаде» космополитического существования двух главных героев, Вана и Ады, протекают на фоне эпохальных событий, происходящих на далекой Антитерре, постепенно обретающей земные черты, преломленные магическим кристаллом писателя. Роман публикуется в новом переводе, подготовленном Андреем Бабиковым, с комментариями переводчика. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-139107-2

© Набоков В. В., 1969

© Издательство АСТ, 1969

Содержание

Родословное дерево	6
Часть первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Владимир Набоков

Ада, или Отрада

Семейная хроника

Посвящаю моей жене

*Кроме Рональда Оранжева и его жены, нескольких
второстепенных лиц и немногих неамериканских подданных, никто из
тех, кто назван в этой книге по имени, до настоящего времени не дожил.
<Ред.>*

Vladimir Nabokov
Ada or Ardor
A Family Chronicle

* * *

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Copyright © 1969, Dmitri Nabokov

All rights reserved

© А. Бабинов, статья, комментарии, подбор иллюстраций, 2022

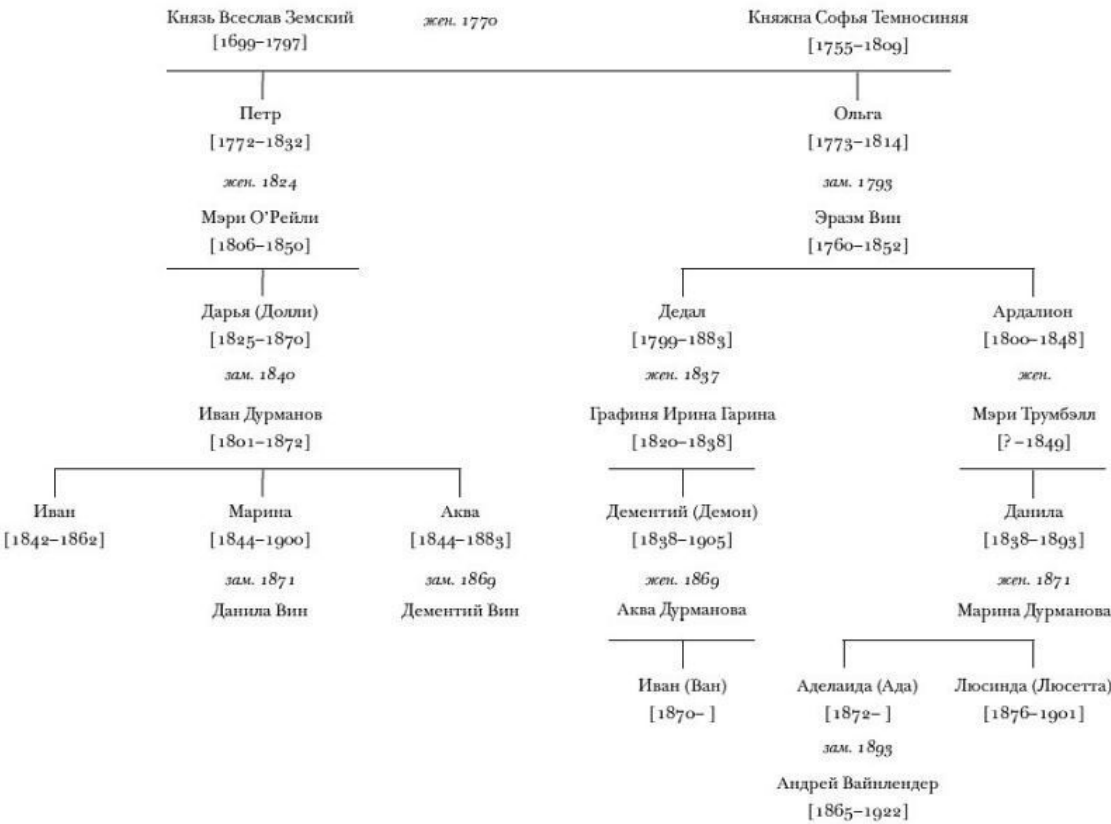
© The Vladimir Nabokov Literary Foundation, Inc., перевод на русский язык, 2022

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Издательство CORPUS®

Родословное дерево



Часть первая

1

«Все счастливые семьи более или менее различны, все несчастливые более или менее похожи друг на друга», замечает великий русский писатель в начале своего знаменитого романа («Anna Arkadieivitch Karenina» в английском преображении Р. Дж. Стоунлоуэра, товарищество с ограниченной ответственностью «Гора Фавор», 1880). Это утверждение едва ли имеет какое-либо отношение к нашему повествованию, семейной хронике, первая часть которой ближе, пожалуй, другому сочинению Толстого, «*Дѣтству и Отрочеству*» (выпущенному по-английски в 1858 году издательством «Понтий Пресс» под названием «Childhood and Fatherland», то есть «Детство и Отечество»).

Дарья (Долли) Дурманова, бабка Вана по материнской линии, была дочерью князя Петра Земского, губернатора Бра-д'Ора, американской провинции на северо-востоке нашей обширной и разнообразной страны, который в 1824 году женился на франтоватой светской особе, ирландке Мэри О'Рейли. Долли, их единственное дитя, родилась в Бра, и в 1840 году, нежных и своенравных пятнадцати лет от роду, обвенчалась с генералом Иваном Дурмановым, комендантом Юконской крепости и мирным помещиком, владевшим землями в Северн Тори (*Съверныя Территории*), этом лоскутном протекторате, который до сих пор любовно называют «Русской» Эстотией, гранобластично и органично смешанной с «Русской» Канадией, иначе называемой «Французской» Эстотией, где не только французские, но также македонские и баварские поселенцы наслаждаются чудным климатом под звездами нашего полосатого американского флага.

Дурмановы, впрочем, облюбовали Радугу, имение, расположенное вблизи городка с тем же названием, за пределами собственно Эстотиландии, на атлантическом отрезке материка, между фешенебельной Калугой (Нью-Чешир, С. Ш. А.) и не менее роскошной Ладогой (Майн), где они владели особняком и где родились трое их детей: сперва сын, умерший молодым и знаменитым, а затем двойня девочек с неуживчивыми характерами. Долли унаследовала материнскую красу и темперамент, но также одну закоренелую родовую черту – эксцентричный и порой удручающий вкус, нашедший свое выражение, к примеру, в именах, которые она дала дочерям: Аква и Марина («Отчего не Тофана?» – со сдержанным утробным смешком спрашивал жену славный, награжденный ветвистыми оленьими рогами генерал и коротко откашливался с напускным безразличием – страшился вспышек ее гнева).

23 апреля 1869 года, во влажной и теплой, сетчатой от мороси зеленой Калуге, страдающая своей обычной весенней мигренью двадцатипятилетняя Аква сочеталась узами брака с манхэттенским банкиром старинного англо-ирландского рода Волтером Д. Вином, уже давно пребывавшим в прерванной и вскоре вновь возобновившейся (спорадически) любовной связи с ее сестрой Мариной. Та, в свою очередь, в 1871 году вышла за двоюродного брата своего первого любовника, тоже Волтера Д. Вина, столь же богатого, но много менее блестящего господина.

«Д.» в имени мужа Аквы означал Демон (форма от Демьян или Дементий), и так его домашние и величали; в свете же он был известен главным образом как Ворон Вин или просто Черный Волтер, в отличие от мужа Марины, Волтера Дурака или попросту Рыжего Вина. Сугубое увлечение Демона состояло в коллекционировании Старых Мастеров и молоденьких метресс. Он, кроме того, любил зрелые каламбуры.

Мать второго Волтера, Данилы или Дана Вина, в девичестве носила фамилию Трумбэлл, и он имел склонность пространно пояснять, если только какой-нибудь охотник затравить зануду не сбивал его, как в ходе американской истории английский «bull» (бык) превратился в новоанглийский «bell» (колокол). В силу тех или иных причин он на третьем десятке «начал свое дело» и довольно бойко выбился в известного манхэттенского торговца картинами. Живопись его мало увлекала, во всяком случае на первых порах, к тому же ни коммерческой жилки, ни нужды растрясать на ухабах своей «работенки» солидное состояние, унаследованное от череды значительно более предприимчивых и решительных Винов, у Данилы не было. Признаваясь в том, что деревенская жизнь ему не по душе, он провел в Ардисе, своем великолепном имении вблизи Ладоры, лишь несколько тщательно затененных летних уик-эндов. Столь же редко с отроческих лет посещал он и другое свое поместье, расположенное на северной стороне Китеж-озера, под Лугой, вмещавшее и практически состоявшее из этой странно прямоугольной, притом совершенно естественной водной глади, для пересечения которой по диагонали окуню требовалось тридцать минут (как он однажды установил по часам) и которой он владел вместе со своим кузенном, бывшим в юности заядлым рыболовом.

Интимная жизнь бедного Данилы не отличалась ни сложностью, ни прелестью, но так вышло (он вскоре позабыл, при каких именно обстоятельствах, как забываешь мерки и цену любовно сшитого пальто, поносив его, от случая к случаю, два-три сезона), что наш негодник удобно влюбился в Марину, семью которой знал еще с тех времен, когда та владела Радужской усадьбой (впоследствии проданной г-ну Элиоту, дельцу-еврею). Как-то весенним днем 1871 года, поднимаясь с Мариной в лифте первого манхэттенского десятиэтажного здания, он сделал ей предложение; на седьмом этаже («Отдел игрушек») был с негодованием отвергнут, вниз спустился в одиночестве и, желая проветрить чувства, отправился в контр-Фогговом направлении в тройной тур вокруг света, всякий раз повторяя, будто ожившая параллель, один и тот же маршрут. В ноябре 1871 года, когда он строил свои вечерние планы с тем же самым грязноватым, но любезным чичероне в костюме цвета *café-au-lait*, которого он уже дважды нанимал все в том же генуэзском отеле, ему подали на серебряном подносе аэродепешу от Марины (пересланную с недельным опозданием его манхэттенской конторой, где ее по недосмотру новой служащей упрятали в долгий ящик с пометкой RE AMOR). Марина кратко извещала Данилу, что выйдет за него после его возвращения в Америку.

Согласно уцелевшему вместе с другими старыми бумагами на чердаке Ардис-Холла воскресному приложению к «Калужской газете», на юмористической странице которой как раз начала печататься серия рисованных историй «Доброй ночи, малыши!», о давно забытых теперь Нике и Пимпернелле (очаровательных брате и сестрице, деливших узкую кровать), брачная церемония Вин-Дурманова состоялась в 1871 году в день св. Аделаиды. Двенадцать лет и приблизительно восемь месяцев спустя двое нагих детей, он – темноволосый и смуглый, она – темноволосая и молочно-белая, склонившись в луче жаркого солнца, падавшего из чердачного окна, под которым громоздились пыльные картонные коробки, случайно сопоставили эту дату (16 декабря 1871 года) с другой (16 августа того же года), косо нацарапанной задним числом рукою Марины в углу официальной карточки (стоявшей в плюшевой малиновой рамке на большом письменном столе ее мужа в библиотеке), – неотличимой от газетного снимка, с той же трафаретно волоочащейся по земле эктоплазменной фатой невесты, слегка вздувшейся на паперти из-за бриза и облепившей панталоны жениха. Девочка появилась на свет 21 июля 1872 года в Ардисе, родовом поместье ее предположительного отца в графстве Ладора, и в силу какой-то неясной мнемонической причины была записана под именем Аделаида. Вторая дочь, на сей раз бесспорно Данова, родилась 3 января 1876 года.

Кроме этого старого иллюстрированного приложения ко все еще выходящей, но давно выжившей из ума «Калужской газете», наши озорные Пимпернелл и Николетта наткнулись в полумраке того же чердака на катушку с лентой, оказавшейся (по словам поваренка Кима, что

станет ясно из дальнейшего) предлинным микрофильмом, отснятым глобтоттером. Пленка запечатлела всякие причудливые базары, раскрашенных херувимчиков и писающих мальчиков, возникавших трижды в разных ракурсах и в новых гелиоцветовых тонах. Разумеется, человеку, который собирается остепениться и создать семью, не следует хвастать определенного рода интерьерами (как, например, групповыми сценами в Дамаске – вот сам Данила, вот непрерывно дымящий сигарой археолог из Арканзаса, обладатель необыкновенного шрама на стороне печени, вот три толстые шлюхи, вот преждевременный «гейзерок» старика Арчи, как смешно назвал эту конвульсию третий участник вечеринки мужского пола, некий бравый британец); и все же во время познавательного медового месяца, проведенного в Манхэттене, Дан много раз демонстрировал молодой жене большую часть этой ленты, к которой прилагались заметки строго фактического рода, не всегда легко отыскиваемые из-за выпавших или перепутанных закладок в нескольких путеводителях, разбросанных кругом. Впрочем, лучшую свою находку дети обнаружили в другой картонной коробке, в более глубоком слое прошлого. Небольшой зеленый альбом с аккуратно вклеенными цветами, набранными самой Мариной или подаренными ей в горном курорте Эксе, недалеко от Брига, Швейцария, где она жила некоторое время до замужества (по большей части в наемном шале). Первые двадцать страниц этого гербария украшали мелкие растения, беспорядочно собранные в августе 1869 года на муравчатых склонах над шале, или в парке отеля «Флори», или же в саду близлежащего санатория («мой *nusshaus*», как его прозвала бедная Аква, «Приют» или «Дом», как более сдержанно его именует Марина в своих пометках о месте, где было сорвано растение). Эти начальные страницы не представляли большой ботанической или психологической ценности, а полсотни последних страниц альбома и вовсе остались пустыми; но срединная часть, с заметно убывающим числом образцов, оказалась сущей мелодрамой в миниатюре, разыгранной призраками мертвых цветов. Образчики находились на одной стороне альбомного листа, а заметки Марины *Dourmanoff* (sic) – en regard.

Ancolie Bleue des Alpes, Экс в Вале, 1.IX.69. От англичанина в отеле. «Водосбор альпийский. Цвет ваших глаз».

Epervière auricule. 25.X.69, Экс, ex horto д-ра Лапинера. Сорвана в стенах его альпийского сада.

Золотой [гинкго] лист: выпал из книги «Правда о Терре», которую Аква подарила мне перед возвращением в свой Приют. 14.XII.69.

Рукотворный эдельвейс, принесенный моей новой нянькой с запиской от Аквы, пояснявшей, что он взят с «мизерной и диковатой» рождественской ели в Приюте. 25.XII.69.

Лепесток орхидеи, одной из 99 орхидей – скажите пожалуйста! – присланных мне вчера, Спешная Доставка, *c'est bien le cas de le dire*, с виллы «Армина» в Приморских Альпах. Отложила десяток, чтобы отнесли Акве в ее Дом. Экс в Вале, Швейцария. «Снегопад в хрустальном шаре судьбы», как он говорил. (Дата стерта.)

Горечавка Коха, редкость, принесена лапочкой Лапинером из его «безмолвного гентиариума». 5.I.1870.

[Синяя чернильная клякса, случайно принявшая форму цветка, или же нечто вымаранное и подправленное химическим карандашом.] *Complicaria complicata* var. *aquamarina*. Экс, 15.I.70.

Причудливый бумажный цветок, найденный в сумочке Аквы. Экс, 16.II.1870. Сложен одним пациентом Дома, который уже больше не ее.

Горечавка весенняя (*printanière*). Экс, 28.III.1870, с лужайки у дома моей няньки. Последний день здесь.

Юные открыватели так прокомментировали это диковинное и отталкивающее сокровище:

«Из этого я вывожу, – сказал мальчик, – три главных обстоятельства: что еще незамужняя Марина и ее замужняя сестра провели зиму в моем *lieu de naissance*, что у Марины был ее собственный доктор Кролик, *pour ainsi dire*, и что орхидеи были посланы Демоном, предпочитавшим жить у моря, своей темно-синей прабабки».

«Могу добавить, – сказала девочка, – что лепесток относится к обычной онцидиум папилио – орхидее-бабочке; что моя мать была еще безумнее своей сестры; и что бумажный цветок, с таким высокомерием отвергнутый, вполне убедительно воспроизводит ранневесенний подлесник, виденный мной в изобилии на прибрежных калифорнийских холмах в прошлом феврале. Доктор Кролик, наш местный натуралист, упомянутый тобой, Ван, ради скорого повествовательного извещения, как могла бы назвать этот прием Джейн Остин (Вы ведь помните Брауна, не так ли, Смит?), определил, что образчик, привезенный мною в Ардис из Сакраменто, это „Bear-Foot“, В, Е, А, R, „медвежья лапа“, любовь моя, не моя или твоя, или стабильной цветочницы – намек, который твой отец, а, согласно Бланш, также и мой, раскусил бы вот так (по-американски щелкает пальцами). И будь благодарен, – продолжала она, обнимая Вана, – что не привожу его научного названия. Между прочим, другая лапа – *Pied de Lion* – с той жалкой рождественской елки – сделана тем же, полагаю, несчастным китайским юношей, приехавшим на лечение из самого Баркли-колледжа».

«Отлично, Помпеянелла (*ты* видела ее, рассыпающую цветы, на репродукции в одном из альбомов дяди Дана, я же любовался ею в музее Неаполя прошлым летом). А теперь не пора ли нам, девочка, снова натянуть тенниски и шорты и спуститься вниз? Зароем или сожжем этот альбом прямо сейчас. Согласна?»

«Согласна, – ответила Ада. – Уничтожить и забыть. Но у нас еще целый час до чая».

Относительно «темно-синей» аллюзии, повисшей в воздухе:

Бывший вице-король Эстотии, князь Иван Темносиний, отец прапрабабки двух наших детей, княжны Софьи Земской (1755–1809), и прямой потомок Ярославских князей дотатарских времен, носил это имя с тысячелетней историей. Оставаясь невосприимчивым к роскошным переживаниям генеалогической осведомленности и равнодушным к тому обстоятельству, что болваны относят как безразличие, так и горячность в этом вопросе в равной мере к проявлению снобизма, Ван не мог не испытывать эстетического волнения из-за бархатного фона своего происхождения, который он всегда различал сквозь черную листву семейного дерева как утешительное вездесущее летнее небо. В поздние годы он уже не мог перечитывать Пруста (как никогда не мог вновь насладиться приторным вкусом тягучей турецкой нуги) без того, чтобы не накатила волна пресыщения и не начала саднить мучительная изжога; и все же его любимый пассаж сохранил свою прелесть, тот, пышный, пурпурный, об имени Германт, к оттенку которого в призме его ума примешивался смежный ультрамарин, приятно дразня его артистическое тщеславие.

Примешивался смежный? Неудачно. Переписать! (Более позднее замечание на полях рукою Ады Вин.)

2

Роман Марины с Демоном Вином начался в день ее, его и Данилы Вина рождения, пятого января 1868 года, когда ей исполнилось двадцать четыре, а обоим Винам – по тридцать лет.

Как актриса Марина не обладала ни одной из тех поразительных способностей, которые делают мастерство перевоплощения даже более ценным – во всяком случае, пока длится представление, – чем такие огни рампы, как бессонница, фантазия, дерзкое искусство; и все же тем вечером, с настоящим мягким снегом, падающим по ту сторону плюша и раскрашенных

холстов, La Dugmanska (платившая легендарному Скотту, своему импресарию, семь тысяч долларов золотом в неделю только за рекламу да еще вознаграждавшая его премией за каждый ангажемент) с самого начала балаганной эфемериды (американской пьесы, состряпанной каким-то претенциозным поденщиком из знаменитого русского романа) была так воздушна, так прелестна, так привлекательна, что Демон (не *вполне* джентльмен в амурных делах) побился об заклад со своим соседом по креслам в партере, князем N., последовательно подкупил череду лакеев в артистических уборных, после чего в *cabinet reculé* (как французский писатель предыдущего века мог бы загадочно назвать этот чулан, в котором держат всякий хлам, сломанную трубу и пуделевый обруч давно забытого клоуна, а еще множество пыльных склянок с разноцветным топленным салом) овладел ею между двух сцен (главы третья и четвертая в искаленном романе). В первой она разделась за полупрозрачной ширмой, явив грациозный силуэт, вышла в соблазнительно-тонком пеньюаре и провела остаток жалкой сцены за обсуждением со старой няней в эскимосских унтах своего соседа-помещика, барона д'О. Следуя бесконечно мудрому совету крестьянки, она, присев на краю постели к ночному столику с гнутыми ножками, написала гусиным пером любовное письмо, которое еще целых пять минут читала вслух томным, но громким голосом – неизвестно кому и зачем, поскольку нянька задремала на чем-то вроде матросского сундука, а зрителей больше интересовало сияние искусственной луны на голых руках и дышащей груди безнадежно влюбленной девицы.

Еще до того, как старуха-эскимоска, шаркая, унесла письмо, Демон Вин покинул свое обитое розовым бархатом кресло и отправился выигрывать пари, рассчитывая на успех не без оснований: Марина, целованная девственница, была увлечена им со времени их последнего танца на новогоднем балу. К тому же тропическая луна, в лучах которой она только что купалась, пронзительное сознание собственной красоты, воодушевление ее героини и вежливые аплодисменты почти полного зала сделали ее особенно беззащитной перед щекоткой Демонных усов. Да и времени у нее оставалось довольно, чтобы переодеться к следующей сцене, которая открывалась долгим интермеццо русской балетной труппы, нанятой Скотти и доставленной в двух спальнях вагонов из самого Белоконска, Западная Эстотия. В великолепном фруктовом саду несколько веселых молодых садовников, наряженных отчего-то грузинами, трескали ягоды малины, а группа столь же невозможных девушек-служанок в шароварах (по-видимому, кто-то оплошал, сказав слово «самовары» в аэродепеше импресарию) деловито собирала с плодовых деревьев мармелад и арахис. По незримому вакхическому знаку они все вдруг пустились в бешеный пляс под названием *курва*, иначе «Пышкина ленточка», как значилось в дурацкой программке, ужасные ляпсусы которой едва не свалили Демона Вина (дрожь во всем теле, легкость в чреслах и розово-красная банкнота князя N. в кармане) с кресла.

Его сердце пропустило удар и не пожалело о прекрасной потере, когда она вбежала в сад, распаленная и взволнованная, в розовом платье, сорвав третью сидячую овацию клаки, благодарившей за мгновенное исчезновение идиотских, но колоритных трансфигурантов из Ляски или Иверии. Ее встреча с бароном д'О., явившемся с боковой аллеи, при шпорах и в зеленом фраке, каким-то образом прошла мимо сознания Демона, настолько его поразило мимолетное чудо этой короткой бездны абсолютной реальности между двух фальшивых вспышек сфальсифицированной жизни. Не дожидаясь окончания сцены, он поспешил из театра в хрустящую хрустальную ночь, и снежинки звездными блестками усыпали его цилиндр, пока он шел домой, на соседнюю улицу, чтобы распорядиться о роскошном ужине. К тому времени, как он на санях с бубенцами вернулся за своей новой любовницей, последнее действие с балетом кавказских генералов и преображенных золушек подошло к своему внезапному концу: барон д'О., теперь в черном фраке и белых перчатках, стоял на коленях посреди пустой сцены, держа в руках стеклянную туфельку, – все, что оставила ему ветренная красавица, ускользнув от его запоздалых ухаживаний. Клакёры уже начали уставать и поглядывать на часы, когда Марина, в черном плаще, скользнула в объятия Демона и в его лебединые сани.

Они кутили, путешествовали, сорили деньгами, ссорились и сходились вновь. К следующей зиме он заподозрил, что она ему неверна, но не мог вычислить соперника. В середине марта, за деловым обедом с экспертом по предметам искусства, легкого нрава долговязым и обаятельным малым в старомодном фраке, Демон, ввинтив монокль, шелкнул замками особого плоского футляра, извлек из него небольшого размера рисунок пером и акварелью и сказал, что полагает (на самом деле знал наверняка, но хотел, чтобы его уверенность была оценена по достоинству), что это неизвестный образчик нежного искусства Пармиджанино. Художник изобразил нагую деву с похожим на персик яблоком в ладони приподнятой руки, сидящую бочком на оплетенном вьюнком выступе. Рисунок был тем более дорог его первооткрывателю, что напоминал Марину, когда она, вызванная аппаратом из отельной ванной комнаты, присев на подлокотник кресла и прикрыв трубку, спрашивала своего любовника о чем-то, что он не мог разобрать из-за шума воды, заглушавшей ее шепот. Едва лишь барон д'Онски взглянул на это поднятое плечо и на кое-какие изгибы и ложбинки с нежной растительностью, как Демон утвердился в своем подозрении. Д'Онски был известен тем, что не проявлял никакого эстетического возбуждения при виде даже самого обворожительного шедевра, но тут, отложив увеличительное стекло, будто отняв маску от лица, он неприкрытым взором, с улыбкой смущенной отрады, принялся ласкать бархатистое яблочко, впадинки и мшистые прелести обнаженной девушки. Не согласится ли господин Вин сей же час уступить ему рисунок, господин Вин, пожалуйста? Господин Вин не согласится. Конски (данное ему за глаза прозвище) остается довольствоваться тщеславной мыслью, что, по крайней мере до сего дня, лишь он да счастливый владелец – единственные во всем свете люди, способные наслаждаться этим произведением *en connaissance de cause*. Рисунок был возвращен в его особый интегумент; однако после четвертой рюмки коньяку д'О. попросил позволения взглянуть в последний раз. Оба были слегка навеселе, и Демон спрашивал себя, стоит ли, должно ли отметить это довольно, в общем, тривиальное сходство райской девы с молодой актрисой, которую его гость, без сомнения, имел удовольствие видеть на сцене в «Евгении и Ларе» или в «Леноре Вороновой» (оба спектакля разнес в пух и прах один «отвратительно неподкупный» молодой критик). Нет, не стоило: такие нимфы действительно весьма схожи друг с другом из-за своей изначальной прозрачности, поскольку сходство двух молодых тел, как двух капель воды, это всего лишь следствие журчания природной невинности и двуличности зеркал, вот моя шляпа, его засаленней, но у нас один и тот же лондонский мастер.

На другой день Демон завтракал в любимой своей гостинице с одной дамой из Богемии, которой прежде не знал и которой больше никогда не встречал (она желала получить его рекомендацию для службы в отделе стеклянных рыб и цветов бостонского музея). Завидев Марину и Акву, безучастно скользивших через зал в модной отрешенности и голубоватых мехах, с Даном Вином и ковыляющим дакем позади, богемская дама, прервав свой поток, нашла нужным заметить:

«Занятно, как эта ужасная актрисочка напоминает „Еву у клепсидрофона“ с известного рисунка Пармиджанино».

«Он какой угодно, но только не известный, – тихо сказал Демон, – и вы не могли его видеть. Вам не позавидуешь, – добавил он, – человеку стороннему, наивному, который или которая вдруг сознает, что замаралась в грязи чужой жизни, должно быть, здорово не по себе. Вы узнали об этом рисунке, упомянутом в частной беседе, от самого небезызвестного д'Онски или от кого-нибудь из его друзей?»

«Его друзей», ответила злополучная дама.

Во время допроса в темнице Демона Марина, залиvisto смеясь, начала было плести затайливую паутину лжи, но разрыдалась и во всем созналась. Она клялась, что с этим покончено и что барон (телом жуткая развалина, а духом – истинный самурай) отбыл на жительство в Японию. Из более надежных источников Демон выяснил, что Самурай отправился вовсе не

в Японию, а в фешенебельный Ватикан, римский курорт, откуда он через неделю или около того должен был вернуться в Аардварк, Массачусетс. Поскольку благоразумный Вин предполагал убить соперника в Европе (поговаривали, будто дряхлый, но несокрушимый Гамалиил намеревался сделать все, чтобы запретить дуэли в Западном полушарии – то ли ложный слух, то ли быстрорастворимый утренний каприз президента-идеалиста, так как в конечном счете из этого ничего не вышло), он нанял самый быстрый петролет, какой только можно было сыскать, настиг барона в Ницце, на редкость свежего с виду, проследовал за ним в книжную лавку Гунтера и на глазах у ее невозмутимого и скучающего английского владельца хлестнул бледно-лиловой перчаткой опешившего барона по лицу. Вызов был принят. Подыскали двух местных секундантов. Барон настоял на шпагах, и после обильного пролития голубых кровей (польской и ирландской – что-то вроде американской «Обагрённой Марии», как эту смесь именуют в барах), обрызгавших оба волосатых торса, беленую террасу, ступени, ведущие в забавной постановке Дугласа Д'Артаньяна назад, к обнесенному стеной саду, фартук случайно попавшейся на пути молочницы и рукава рубашек обоих секундантов, любезного мосье де Паструил и мерзавца полковника Сент-Алина (St. Alin), разнявших запыхавшихся противников, Конски скончался – не из-за «полученных ран», как неверно доносили слухи, а от гангренозных последствий одной из самых незначительных из них, – вполне возможно, нанесенного им самому себе укола в пах, вызвавшего нарушение кровообращения, восстановить которое не удалось и после нескольких операций, сделанных ему в продолжение двух или трех лет затянувшегося пребывания в Аардваркском госпитале Бостона, городе, в котором, по совпадению, он в 1869 году женился на уже известной нам богемской даме, теперь хранительнице стеклянной биоты в местном музее.

Марина приехала в Ниццу спустя несколько дней после дуэли, выследила Демона на его вилле «Армина», и в экстазе примирения оба позабыли об уловках, уберегающих от зачатия, что привело к крайне *интересному положению*, без которого, собственно, эти горестные заметы никогда не обрели бы своей узорной связности.

(Ван, я доверяю твоему вкусу и таланту, но *вполне* ли мы уверены, что нам следует возвращаться в тот порочный мир с таким *рвением*? Ведь он, в конце концов, мог существовать лишь онирологически, Ван. Пометка на полях рукою Ады в 1965 году; легко перечеркнута ее позднейшим дрожащим почерком.)

Эта безрассудная пора оказалась не самой последней, но самой короткой, продлившись всего четыре или пять дней. Он простил ее. Он обожал ее. Он мечтал на ней жениться – при условии, что она немедленно покончит со своей театральной «карьерой». Он обличал посредственность ее дарования и вульгарность ее окружения, она же в ответ кричала, что он чудовище и дьявол. К десятому апреля уже Аква стала его сиделкой, а Марина улетела обратно, на репетиции «Люсиль», еще одной никчемной драмы, ожидавшей своего провала на подмостках еще одного ладорского театра.

«Adieu. Пожалуй, так будет лучше, – писал Демон Марине в середине апреля 1869 года (передо мной, вероятно, копия письма, переписанного его каллиграфическим почерком, или собственно непосланный оригинал), – ибо каким бы блаженством ни сопровождалась наша семейная жизнь и сколько бы ни продлилась эта блаженная жизнь, один образ я никогда не смогу ни забыть, ни простить. Позволь сути сказанного дойти до твоего сознания, дорогая. Позволь мне повторить это в таких выражениях, которые актриса сможет оценить. Ты улетела в Бостон навестить старушку тетку – клише, но в данном случае правда, – а я отправился проведать *свою* тетку на ее ранчо близ Лолиты в Техасе. Как-то ранним февральским утром (около полудня chez vous) я из придорожной кабины, цельный хрусталь которой был залит слезами после грандиозной грозы, позвонил в твой отель, чтобы просить тебя немедленно прилететь, поскольку я, Демон, шумящий смятыми крыльями и клянящий автоматический дорофон, не могу жить без тебя и поскольку я мечтал, чтобы ты увидела вместе со мной, прижимаясь ко

мне, оцепенение ярких пустынных цветов, отысканных прошедшим дождем. Твой голос звучал далеко, но нежно; ты сказала, что обнажена, как Ева, погоди минутку, накину *penoir*. Вместо этого ты, зажав мое ухо ладонью, обратилась к мужчине, с которым, полагаю, провела ночь (и которого я бы растерзал, кабы не жаждал его оскотить). Итак, *voilà* он, эскиз, созданный в пророческом экстазе молодым художником из Пармы в шестнадцатом веке для фрески *нашей* судьбы и совпадающий, за исключением яблока ужасного познания, с образом, повторенным в сознании двух мужчин. К слову, твоя сбежавшая горничная была найдена полицейскими в здешнем борделе и будет препровождена к тебе, едва ее как следует накачают ртутью».

3

Подробности «Эль-катастрофы» (и я не имею в виду Элизиум) в *beau milieu* минувшего столетия, имевшей исключительное значение как для определения, так и для очернения понятия «Терра», слишком хорошо известны в историческом отношении и слишком непристойны в отношении духовном, чтобы посвящать им много места в книге, предназначенной юным любителям тайн и тайным любовникам, а не экспертам или эксгуматорам.

Разумеется, теперь, после того как прошел (лишь в той или иной мере!) великий период анти-Эльских реакционных заблуждений и наши маленькие глянцевиные машины, да благословит их Фарабог, вновь тарахтят себе по-своему, как то было в первой половине девятнадцатого века, сам географический аспект этого дела обнаруживает свою искупительную комическую черту, вроде тех узоров латунной маркетри в брик-а-Браках и прочих сусальных пакостях, которые назывались «искусством» нашими безыюморными предками. Поскольку, действительно, всякий отметит нечто в высшей степени смехотворное в самих конфигурациях того, что торжественно преподносилось как многокрасочная карта Терры. *Вряд* обхохочешься, стоит только подумать, что «Россия», вместо того чтобы быть причудливым синонимом Эстотии, американской провинции, протянувшейся от Северного полярного и более не порочного круга до собственно владений Соединенных Штатов, на Терре – название страны, словно бы переброшенной фортелем континентов через сдвоенный океан – ну не умора ли? – на другое полушарие, где она растянулась по всей территории современной Татарии от Курляндии до Курил! К тому же (что еще абсурднее), если в земных пространственных терминах Амеросия Авраама Мильтона была расколота на составные части, с реальными водами и льдами, разделявшими скорее политические, нежели поэтические понятия «Америка» и «Россия», то в отношении времени возникли более сложные и даже еще более нелепые расхождения – не только оттого, что история каждой части амальгамы не вполне соответствовала истории каждой из их копий в их разъединенном состоянии, но и оттого, что между двумя мирами так или иначе существовал разрыв в добрую сотню лет, разрыв, отмеченный престранной путаницей указателей направлений на перекрестках проходящего времени, когда не *всё* случившееся одного мира соотносится с еще не случившимся другого. Именно вследствие этого, кроме прочего, «научно непознаваемого» схождения отклонений, умы *bien rangés* (не склонные шутить с чертями) отвергли Терру как блажь или мираж, умы же расстроенные (готовые очертя голову броситься в бездну) приняли ее за подтверждение и знак собственной иррациональности.

Впоследствии сам Ван Вин, предавшись пылким изысканиям в области террологии (бывшей в то время отраслью психиатрии), выяснил, что даже глубочайшие мыслители, философы чистейшей воды, Паар из Чуза и Запатар из Аардварка, терзались противоречивыми чувствами, допуская возможность того, что где-то существует «гнилой землицы нашей порочное зеркало», – как с благозвучным остроумием выразился один ученый муж, пожелавший остаться безымянным. (Гм! Странно-странно, как говаривала бедная м-ль Л., обращаясь к Гавронскому. Приписка рукой Ады.)

Были те, кто утверждал, что расхождения и «ложные наложения» между двумя мирами слишком многочисленны и слишком глубоко вплетены в клубок последовательных событий, чтобы теория сущностного тождества не запятналась банальной фантазией; им возражали, что расхождения лишь утверждают живую органическую реальность иного мира, что совершенное подобие подразумевало бы зеркальность, а значит, спекулятивность феномена, и что две шахматные партии с одинаковыми начальными и заключительными ходами на *одной* доске, но в *двух* сознаниях могут разветвляться в бесконечное многообразие вариантов на каждой срединной стадии их необратимо сходящегося развития.

Скромному повествователю приходится напомнить все это тому, кто сейчас перечитывает предыдущий пассаж, поскольку в апреле (мой любимый месяц) тысяча восемьсот шестьдесят девятого (и нисколько не *mirabilis*) года, в день св. Георгия (согласно слезливым мемуарам м-ль Ларивьер), Демон Вин женился на Акве Дурмановой – со злости и из жалости, не столь уж редкой смеси чувств.

Были ли они приправлены чем-нибудь еще? Марина с извращенным тщеславием утверждала в постели, что на чувства Демона, должно быть, повлияло своего рода «кровосмесительное» (что бы этот термин ни значил) удовольствие (в значении французского *plaisir*, изрядно отдающего добавочным позвоночным вибратором), когда он нежил, и смаковал, и деликатно раздвигал, и осквернял разными неудобосказуемыми, но упоительными способами плоть (*une chair*), принадлежавшую сразу и жене, и любовнице, смешанные и сияющие прелести двух единокровных пери, Акварина одновременно единая и сдвоенная, мираж в эмирате, бесценный самоцвет, оргия эпителиальных аллитераций.

По правде говоря, Аква была не такой хорошенькой и гораздо более чокнутой, чем Марина. Четырнадцатилетний срок ее жалкого замужества состоял из все удлинявшихся периодов пребывания в различных санаториях. Небольшую карту европейской части Британского Содружества – скажем, от Шотландо-Скандинавии до Ривьеры, Алтара и Палермонтовии, – а также внушительную часть С. Ш. А., от Эстотии и Канадии до Аргентины, можно было довольно густо испестрить эмалевыми флажками с красным крестиком, отмечающими – в собственной Аквиной Войне Миров – места ее бивуаков. Одно время она подумывала поискать хотя бы немного здравости («чуточку серого, пожалуйста, вместо этой сплошь непроницаемой черноты») в таких англо-американских протекторатах, как Балканы и обе Индии, и даже попытаться счастья на двух южных континентах, процветающих под нашим совместным господством. Разумеется, суверенный ад Татарии, в те времена протянувшейся от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, оставался для туристов недоступным, хотя названия Ялта и Алтын Таг звучали до странности привлекательно... Однако ее истинной целью была Терра Прекрасная, и туда-то, верила Аква, она унесется на длинных стрекозиных крыльях после своей смерти. Ее горькие записки к мужу, славшиеся из различных приютов безумия, бывали подписаны так: «Мадам *Щемящихъ-Звуковъ*».

После первой схватки с умопомрачением в Экс-ан-Вале она вернулась в Америку и потерпела жестокое поражение, в те дни, когда Ван еще сосал грудь совсем юной кормилицы, почти ребенка, Руби Блэк, рожденной Блэк, которой тоже суждено было сойти с ума, поскольку стоило лишь какому-нибудь нежному и хрупкому созданию сблизиться с ним (к примеру, Люсетте в свое время), как его неминуемо постигали горе и страдания, если, конечно, у этого создания в жилах не текла стойкая демонская кровь его отца.

Аква еще не исполнилось и двадцати, когда свойственная ее натуре экзальтация начала обнаруживать признаки отклонения. Хронологически начальная стадия ее умственного расстройства совпала с первым десятилетием Великого Откровения, и хотя она могла бы с той же легкостью найти другую тему для своей мании, из данных статистики следует, что Великое и для иных Невыносимое Откровение вызвало в мире большее число помешательств, чем даже религиозный фанатизм в Средние века.

Откровение может быть опаснее кровавой революции. Повредившиеся умом отождествляли «Планету Терру» с понятием «тот свет», и этот «Мир Иной» смешивался не только с «Миром Потусторонним», но и с Миром Реальным вокруг нас и внутри нас. *Наши* чародеи, *наши* демоны – благородные сияющие существа с прозрачными когтями и мощным взмахом крыльев; однако Нововеры шестидесятых годов девятнадцатого века страстно призывали нас представить себе сферу, в которой наши чудесные друзья вконец опустились, сделавшись всего лишь злобными и порочными монстрами, омерзительными бесами с черными мошонками хищников и ядовитыми зубами змей, осквернителями и мучителями женских душ, в то время как на противоположной стороне космического переулочка радужная дымка ангельских духов, населяющих сладостную Терру, воссоздавала все позабытые, но еще плодотворные мифы былых верований, с переложением для мелодии всех какофоний всех богословий и пророчеств, когда-либо порожденных болотами нашего достаточного мира.

Достаточного для твоей цели, Ван, *entendons-nous*. (Заметка на полях.)

Бедняжка Аква, чье воображение было легкой добычей для юродивых и христиан, живо воображала себе рай младшего псаломщика, Америку грядущего: алебастровые здания в сто этажей, напоминающие красивые мебельные лабазы, набитые высокими белыми шкафами и приземистыми рефрижераторами; она видела гигантских летающих акул с глазами по бокам, способных всего за ночь перенести паломников по черному эфиру через весь континент, от темного к сияющему морю, а после вернуться в Сиэтл или Уорк. Она слышала волшебные музыкальные шкатулки, говорящие и поющие шкатулки, которые заглушали ужас мысли, возносили девушку-лифтера, спускались с углекопом, восхваляя красоту и благочестие, Деву и Венеру, в обителях пустынных и скорбных. Непостижимой силой магнетизма, обличаемой злостными законниками в этой нашей захудалой державе, да и вообще всюду – в Эстотии и Канадии, в «германской» марке Кеннензи и в «шведской» Манитобогане, в мастерской краснорубашечника-юконца и на кухне краснокосяночной лясканки, и во «французской» Эстотии, от Бра-д'Ора до Ладоры, а там и на всем пространстве двух наших Америк, как и на всех прочих потрясенных континентах, – на Терре пользовались так же свободно, как водой и воздухом, библиями и метлами. Двумя-тремя столетиями раньше Аква легко нашла бы себе место в когорте горячих ведьм.

В сумбурные студенческие годы она бросила модный Браунхильский колледж, основанный не самым почтенным ее предком, чтобы с другими энтузиастами (что также было модно) участвовать в одном из проектов Общественного Содействия, зачинавшихся на *Съверныхъ Территоріяхъ*. При живейшей поддержке Мильтона Авраама она открыла в Белоконске «Друг-сторій» (аптекарский магазин «Дружба») и там же болезненно влюбилась в женатого человека, который после одного лета плебейской страсти, скупно отпускаясь Акве в его гарсоньерке (фордовом доме на колесах), почел за лучшее бросить любовницу, чем искушать судьбу, рискуя своим положением в мещанском городке, в котором местные воротилы по воскресеньям играли в «гольф» и состояли в «ложах». Кошмарный недуг, поверхностно и небрежно определенный в ее случае (а также применительно к другим несчастным) как «крайняя форма мистической мании в сочетании с экзистенциализмом» (иными словами, обычное помешательство), завладевал ею постепенно, отступая в периоды экстатической благодати и преодолевая всё более редкие и короткие участки зыбкого здравомыслия, с внезапно находившимися на нее грезами о беспечной вечности.

После ее смерти в 1883 году Ван подсчитал, что за тринадцать лет, принимая во внимание каждый случай предположительного присутствия и все печальные визиты к ней в различные госпитали, а также ее неожиданные вторжения среди ночи (когда она, на всем пути вверх по лестнице борясь с мужем или хрупкой, но проворной английской гувернанткой, встречаемая радостным лаем старого аппенцеллера, прорывалась наконец в детскую – без парика, босоно-

гая, с окровавленными ногтями), он видел ее или находился подле нее в конечном счете не более срока вынашивания человеческого плода.

Вскоре зловещая мгла скрыла от нее радужную даль Терры. Одна стадия распада сменялась другой, еще более мучительной, поскольку человеческий мозг способен стать наилучшим пыточным застенком из всех, им самым изобретенных и испробованных – за миллионы лет, в миллионах стран, на миллионах воющих созданиях.

У нее развилась болезненная чувствительность к плеску проточной воды, напоминающему порой (подобно току собственной крови в предморфическом состоянии) обрывки человеческой речи, все еще звучащей в ушах, когда моешь руки после коктейля с незнакомыми людьми. Заметив однажды этот продленный, стойкий, а в ее случае скорее нетерпеливый и игривый, но, конечно, совершенно безобидный отзвук той или иной недавней беседы, она почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки от мысли, что вот она, бедняжка Аква, вдруг открыла такой простой способ записывать и передавать звучащую речь, в то время как все эти технические специалисты (так называемые яйцеголовые) во всем мире выбиваются из сил, создавая удобные в использовании и прибыльные для производителей, но по-прежнему такие сложные и дорогие гидродинамические телефоны и прочие убогие приспособления взамен тех, что канули *къ чертямъ собачьимъ* вместе с запрещенным к упоминанию «ламмером». Вскоре, однако, ритмически безупречная, но вербально довольно невразумительная болтовня водопровода начала приобретать слишком много уместного смысла. Внятность речи текущей воды росла пропорционально злобности ее инсинуаций. Она принималась вещать вскоре после разговора Аквы с кем-нибудь или после чьих-нибудь слов, не обязательно обращенных к ней, слов напористых и выразительных – человек с быстрым характерным голосом и очень своеобразными или иностранными интонациями, какой-нибудь навязчивый краснобай на дрянной вечеринке, или журчащий монолог в дурацкой пьесе, или дорогой голос Вана, или обрывок стихотворения, услышанного на лекции, мой мальчик, мой милый, любовь моя, сжался, но особенно более текучие и flou (расплывчатые) итальянские стихи, к примеру, те, которые читал эдак нараспев полурусский, полусумасшедший старый доктор, постукивая молоточком по ее коленкам и оттягивая ей веки, лот, ток, веки, реки, ballatetta, deboletta... tu, voce sbigotitta... spigotty e diavoletta... de lo cor dolente... con ballatetta va... va... della strutta, destruttamente... mente... mente... довольно, остановите пленку, иначе гид продолжит показывать, как он делал этим утром во Флоренции, тот нелепый столп, увековечивающий, по его словам, память об «ильмо», который покрылся листвой, когда под его сенью, градуально густевшей, пронесли каменно-тяжелое тело мертвого св. Зевса; или та карга из Арлингтона примется без умолку наставлять своего молчащего мужа, пока мимо проносятся виноградники, и даже в туннеле («...они не могут так поступать с тобой, скажи им, Джек Блэк, ты просто скажи им...»). В воде, наполнявшей ванну (или хлеставшей в душе), слишком много было от Калибана, чтобы звучать членораздельно – или же, быть может, ей просто зверски хотелось изойти горячей струей и избавиться от адского жара, а не отвлекаться на пересуды; но иные речистые ручейки становились все более требовательными и гадкими, и когда в своем первом «Доме» она услышала, как один из самых отвратительных приходящих докторов (тот, который читал наизусть Кавальканти) словоохотливо излил отвратительные предписания на жидком немецком (с русским акцентом) в ее отвратительное биде, она решила вовсе перестать пользоваться проточной водой.

Но эта стадия тоже миновала. Иные муки так основательно заменили названную ее именем пытку, что когда она однажды, в один из периодов просветления, слабой рукой нажала на рычажок купели с питьевой лимфой, прохладный источник ответил на собственном наречии, без капли издевки или иронии: «Finito!» Тогда-то в сознании Аквы между тусклых изваяний мыслей и воспоминаний и начали шириться мягкие темные ямы, ямищи, несказанно ее терзавшие; умственная судорога и телесная боль сомкнули рубиново-черные длани – одна при-

нуждала ее мечтать о здоровом рассудке, другая – молить о смерти. Рукотворные вещи утрачивали свое значение или наполнялись каким-нибудь чудовищным смыслом: одежные «плечики» казались в самом деле обезглавленными теллурийцами, складки сброшенного пинком одеяла становились горестно глядящим лицом с ячменем на набрякшем веке и унылым укором в углах мертвенно-бледных губ. Попытка постичь данные, каким-то образом извлекаемые гениями из положения стрелок хронометров или трелей репетиров, стала столь же безнадежной, как попытка разобрать язык жестов тайного общества или китайский напев молодого студента с гитарой (не китайской), которого Аква знавала в ту пору, когда она или ее сестра разрешилась лилово-розовым младенцем. Однако ее безумие, ее величество безумие, сохраняло трогательное кокетство сумасшедшей королевы: «Знаете, доктор, мне, кажется, скоро понадобятся очки. Вот уж, в самом деле (надменный смех), – никак не разберу, что там показывают мои часики... Ради всего святого, да скажите же, что там на часах! Неужели! Ровно полдень – но как *полдень* может быть ровным? Ах, ни в каком смысле, ни в каком. Смысл и замысел – слова-близнецы, у меня сестра-близнец и сын-близнец. Знаю, вам не терпится осмотреть лепестки моего рододендрона, волосатая альпийская роза в *ее* альбоме, сорванная десять лет тому назад» (показывает десять пальцев – восторженно, горделиво, да, именно десять!).

Затем страдания сделались нестерпимыми, доводя ее до совсем уже кошмарных состояний с криками и рвотой. Она пожелала (и ей в том не отказали, хвала госпитальному брадобрею Бобу Рикку), чтобы ее черные кудри сбрили до аквамариновой щетины, поскольку ей казалось, будто они растут внутрь ее пористого черепа и курчавятся внутри. Составные кусочки неба или стены все время распадались, и как бы тщательно она их ни соединяла – неосторожный толчок или локоть сиделки легко разобщиали эти невесомые фрагменты, вместо которых возникали непостижимые пустоты неизвестных предметов или изнанки шашек «Скрэббла», которые она никак не могла повернуть внутренней осмысленной стороной, поскольку руки были связаны за спиной санитаром с черными глазами Демона. Но вот страх и боль, как двое детей в шумной игре, с последним пронзительным хохотом унеслись прочь, чтобы заняться друг другом за кустарниковой зарослью, как в «Анне Карениной» графа Толстого, роман такой, и опять на некоторое время, на короткое время, в доме стало очень тихо, и у их матери было то же имя, что и у матери Аквы и Марины.

Порой Акве мнилось, будто ее мертворожденный ребенок мужского пола, проживший в ней всего шесть месяцев, изумленный зародыш, резиновая рыбка, которой она разрешилась в ванне, в *lieu de naissance*, обозначенном в ее снах просто как X, погибший из-за того, что она со всего лыжного лету наскочила на припорошенный пенёк лиственницы, каким-то чудом выжил и был привезен ей с поздравлениями от сестрицы в Nusshaus (завернутый в насквозь мокрую от крови вату, но живой и совершенно здоровенький), с тем чтобы его записали в метрическую книгу как ее сына, Ивана Вина. В другие дни она бывала убеждена в том, что то был ребенок сестры, рожденный вне брака во время изнурительно долгой, но все же необычайно романтической метели в горном пристанище на Секс-Руж, где некто д-р Альпинер, практикующий врач и любитель горечавки, суша сапоги, сидел в провиденциальном ожидании у грубой красной печки. Менее чем два года спустя, в сентябре 1871-го, – ее непокорное сознание все еще хранило с дюжину дат – вышло недоразумение, когда она сбежала из *своего* нового пристанища и как-то сумела добраться до памятного загородного дома мужа (притворилась иностранкой: «Signor Konduktor, ай вант go Lago di Luga, hier geld»). Воспользовавшись тем, что Демон принимал сеанс массажа в солярии, она прокралась в их бывшую спальню, где испытала приятное потрясение: *ее* гигиеническая пудра в полупустом флаконе с надписью яркими буквами «Quelques Fleurs» все еще стояла на *ее* ночном столике; *ее* любимая огненно-красная ночная сорочка лежала смятая на покрывале, и для нее все это означало, что то был лишь короткий черный кошмар, затмевавший лучезарную правду, что все это время она, Аква, спала с мужем в одной постели, – с того самого зеленого и дождливого дня рождения Шекспира; для большин-

ства же остальных людей, увы, это значило, что Марина (оставленная фильмовым режиссером Г. А. Вронским ради очередного хлопающего ресницами Христосика, как он называл хорошеньких юных актрис) уверила себя, что *c'est bien le cas de le dire* было бы преотлично принудить Демона развестись со свихнувшейся Аквой и жениться на ней, Марине, которой чудилось (счастливо и справедливо), что она вновь на сносях. Марина провела с Демоном *рукулирующий* месяц в Китеже, но стоило лишь ей самодовольно заикнуться о своих планах (как раз перед приездом Аквы), как он вышвырнул ее из дома. Еще позже, на последнем коротком витке своего безотрадного существования, Аква отбросила все эти сомнительные воспоминания и в роскошной «санатории» в Центавре (Аризона) стала читать и перечитывать, набожно и блаженно, письма сына. Он писал к ней неизменно по-французски, называя ее «*petite maman*», и все возвращался к той замечательной школе, в которую должен был отправиться по достижении тринадцати лет. Она слышала его голос сквозь ночной звон в ушах во время новых, полных планов, последних, самых последних бессонниц, и это утешало ее. Обычно он называл ее по-русски «мамочкой», делая ударение на первом слоге, или по-английски «тата», выделяя последний слог на французский манер. Говорят, что в трехязычных семьях нередко рождаются тройни и геральдические драконцы; но теперь уже не оставалось *никаких* сомнений (не считая, быть может, разве тех, которые имелись в ненавистном, давно мертвом, пребывающем в аду сознании Марины), что Ван был именно *ее, ее*, Аквы, любимым сыном.

Не желая погружаться в новый рецидив после этого благословенного состояния совершенного душевного покоя, но зная, что оно долго не продлится, она поступила, как другая страдальца в далекой Франции, в гораздо менее светлом и привольном «Доме». Некто д-р Фройд, один из начальствующих кентавров – он мог быть эмигрировавшим братом (с искаженной в паспорте фамилией) д-ра Фройта из Синьи-Мондьё-Мондьё, городка в Арденнах, или, что вернее, являлся этим самым человеком, поскольку оба происходили из Вьены (Изер) и были единственными сыновьями своих матерей (как и ее сын), – применил, или, скорее, вменил *терапевтический* метод, укрепляющий «групповое» чувство, по которому лучшим пациентам дозволялось помогать санитарам и сестрам, ежели они «испытывали таковую склонность». Аква, в свой черед, в точности повторила хитроумный трюк смысленной Элеоноры Бонвар, а именно вызвалась заправлять постели и мыть стеклянные полки шкапчиков. Этот «Асториум» в Сен-Таврусе, или как там его именовали (не все ли равно – такие мелочи забываешь очень быстро, когда тебя носит в бесконечном ничто), был, пожалуй, посовременнее, с более изысканным видом на пустыню, чем тот холодный дом, *гнупситель* в Мондефройде, но в обоих местах полоумный пациент мог в два счета обставить круглого дурака-доктринера.

Ей потребовалось меньше недели, чтобы накопить две сотни пилюль различной силы действия. Многие из них она уже пробовала – наивные успокоительные и те, что валят с ног от восьми до полуночи, и несколько видов первоклассных снотворных, оставляющих вас с хрупкими конечностями и свинцовой головой после восьмичасового небытия, и тот наркотик, сам по себе восхитительный, но немного убийственный, если его запить глотком дезинфицирующего средства под коммерческим названием «Морона»; и еще была круглая пилюля, фиалкапсула, напоминавшая ей – что было очень забавно – те шарики юной гитаночки-волшебницы в испанской сказке (любимой ладорскими школьницами), которыми она усыпляла всех ловцов и их гончих в начале охотничьего сезона. А чтобы какой-нибудь стервец не воскресил ее, воротив с полпути обратно, Аква решила обеспечить себе максимально долгий срок неприкосновенного беспамятства где-нибудь за пределами стеклянного дома. Осуществлению этой второй части замысла неожиданно способствовал другой агент или двойник Изерского профессора, некто д-р Зиг Хайлер, почитавшийся всеми за отличного малого и практически гения – в том же расхожем смысле, в каком безалкогольное пиво практически пиво. Те пациенты, которые дрожаньем век и других более или менее интимных частей тела подтверждали наблюдавшим их студентам-медикам, что Зиг (слегка кривобокий, но не безобразный малый) явля-

ется им во сне в образе «папаши Фига», мастера хлопать девиц по задницам и метко плевать в урны, определялись в разряд выздоравливающих и получали, после пробуждения, дозволение участвовать в обычных групповых развлечениях на свежем воздухе, к каковым относились и пикники. Лукавая Аква дрогнула, изобразила зевок, открыла свои ярко-голубые глаза (с тем же примечательным контрастом саржево-черных зрачков, которым отличались и глаза ее матери Долли), натянула свободные желтые штаны и черное болеро, прошла через сосновую рощицу, большим пальцем поднятой руки остановила мексиканский грузовик, доехала до подходящего ущелья, заросшего чапаралем, и там, написав короткую записку, безмятежно принялась поедать многоцветное содержимое своей сумочки, захватывая его горстями, как деревенская русская девушка, лакомящаяся ягодами, только что собранными в лесу. Она улыбнулась, мечтательно тешась мыслью (вполне «каренинской» по тону), что ее исчезновение, пожалуй, заденет людей так же сильно, как внезапное, таинственное, никем никогда не объясненное прекращение юмористической колонки в воскресной газете, которую читают годами. То была ее последняя усмешка. Ее очень скоро нашли, но она умерла даже быстрее, чем можно было ожидать, и наблюдательный Зигги, все еще облаченный в мешковатые, защитного цвета шорты, отметил, что сестра Аква (как почему-то все ее называли) лежит так, будто ее погребли в доисторическое время, в позе зародыша, – комментарий, показавшийся важным его студентам, как, возможно, и моим.

Обнаруженную у нее предсмертную записку, адресованную мужу и сыну, мог бы составить и самый здравомыслящий человек на той или этой планете.

Aujourd'hui (heute – ой ли!) я, эта умеющая вращать глазами кукла, заслужила *психитическое* право насладиться натур-мортом в обществе герра д-ра Зигга, сестры Иоанны Грозной и нескольких «пациентов» в подзаборном бору, где я заприметила, Ван, точно таких же скунсовидных белок, которых твой Темносиний предок привез в парк Ардиса, где тебе еще предстоит нагуляться вволю. *Стрелки часовъ* [the hands of a clock], даже когда они встали, должны знать и передать самым глупеньким ручным часикам, на чем именно они остановились, иначе это вовсе не циферблат, а только белая физиономия с накладными усами. Так и *человѣкъ* должен знать, где он, в каком месте, и сообщить другим, – в противном случае он даже не *клокъ* *человѣка*, не чело и не веко, ни то ни се, а только «a tit of it» [одно название], как бедняжка Руби, Ванечка мой, говорила о своей скудной правой титьке. Я, несчастная Princesse Lointaine, а теперь très lointaine, не знаю, где нахожусь. Посему я должна сгинуть. Так что, adieu, мой милый, милый мой сын, и прощай, бедный Демон, я не знаю ни даты, ни времени года, но сегодня резонно и, без сомнения, сезонно, стоит ясный день с ручейком хорошеньких маленьких муравьев, стекающихся отвесть моих ярких пилюль.

[Подписано:] Сестра своей сестры, которая теперь изъ ада

«Если мы хотим, чтобы солнечные часы жизни показали нам свою стрелку, – прокомментировал Ван, развивая метафору в розовом саду поместья Ардис в конце августа 1884 года, – мы всегда должны помнить, что могущество, достоинство, упоение человеческое состоят в том, чтобы одолевать и презирать тени и звезды, которые скрывают от нас свои тайны. Только нелепая сила боли вынудила ее сдаться. И я часто думаю, насколько было бы убедительнее, эстетически, экстатически, эстотически говоря, – если бы она в самом деле была моей матерью».

4

Когда в середине двадцатого века Ван начал восстанавливать свое глубинное прошлое, он скоро заметил, что те детали его детства, которые действительно были важны (для особой цели, преследуемой этой реконструкцией), лучше всего поддавались осмыслению, а зачастую только и *могли быть* разъяснены лишь после того, как они вновь возникали на разных более поздних стадиях его отрочества и юности – в виде тех внезапных сопоставлений, которые, освещая часть, освещают и целое. Вот отчего его первая любовь имеет здесь преимущество перед его первой травмой или кошмаром.

Ему только что исполнилось тринадцать. Он никогда еще не покидал благополучного отчего крова. Он никогда еще не задумывался о том, что такое «благополучие» не может считаться чем-то само собой разумеющимся, вроде готовой метафоры, которой принято начинать книжки о мальчике и школе. На соседней от школьного двора улице мадам Тапирова, вдова-француженка, говорившая по-английски с русским акцентом, держала магазин всякой изысканной всячины и более или менее антикварной мебели. Как-то ясным зимним днем он зашел в него. Хрустальные вазы с алыми розами и золотисто-бурыми астрами возвышались там и тут в передней части магазина – на золоченой деревянной консоли, на сиявшем от лака комодке, на кабинетной полке или просто на ковровых ступенях, ведущих на второй этаж, где величественные платяные шкапы и вычурные буфеты окружали диковинную группу из нескольких арф. Он удостоверился в том, что цветы искусственные, и подумал, странно, что такого рода подделки всегда стремятся соблазнить исключительно зрение, вместо того чтобы симитировать также маслянистую влагу живых лепестков и листьев, тем самым обманув и осязание. На другой день он зашел спросить о какой-то вещице (теперь, восемьдесят лет спустя, затерявшейся в памяти), которую хотел не то починить, не то дублировать, и узнал, что она еще не готова или не получена. Уходя, он коснулся полураскрытого бутона розы, и, вопреки ожиданию, его озадаченные пальцы ощутили не стерильную текстуру, а прохладный живой поцелуй надутых губок. «Моя дочь, – сказала г-жа Тапирова, заметив его удивление, – всегда добавляет несколько настоящих к этим фальшивкам *pour attraper le client*. Вам достался джокер». Он столкнулся с ней в дверях, школьницей в сером пальто, с русыми локонами до плеч и прелестным лицом. В другой раз (поскольку какой-то части той вещи, кажется, рамке, требовалась целая вечность для исцеления, или же саму вещь, как выяснилось в конце концов, невозможно было раздобыть) он увидел ее, свернувшуюся с учебниками в кресле – из домашней обстановки, а не из той, что была выставлена на продажу. Он так никогда и не заговорил с ней. Он любил ее без памяти. Это продолжалось, должно быть, по меньшей мере шесть школьных месяцев.

То была любовь, естественная и таинственная. Менее таинственным и значительно более гротескным страстям, которые не смогли искоренить несколько поколений школьных учителей, в Риверлейне отдавалось предпочтение до самого 1883 года. В каждом дортуаре имелся свой катамит. Шайка мальчишек-иностранцев, по большей части греков и англичан, предводимая Чеширом, отличным игроком в регби, не давала проходу и беспрестанно мучила одного истеричного юношу из Упсалы, косоглазого и ширококоротого, с почти болезненно неуклюжими конечностями, но с удивительно гладкой кожей и круглыми сливочными прелестями бронзи-ниевского купидона (того, крупного, которого восхищенный сатир обнаруживает в будуаре дамы). Частью из бравады, частью из любопытства, Ван, преодолевая отвращение, холодно наблюдал за их грубыми оргиями. Вскоре, однако, он оставил этот эрзац ради более здорового, хотя столь же безжалостного развлечения.

Стареющая женщина, торговавшая леденцами и «Лаки-Луисовыми» журнальчиками в угловой лавке, которую школьникам традиционно не возбранялось посещать, наняла молоденькую поденщицу, и Чешир, сын рачительного лорда, тут же выведал, что эту толстую

маленькую девку можно купить за зеленый русский доллар. Ван одним из первых воспользовался ее благосклонностью. Услуги оказывались на задах лавки после ее закрытия, в полумраке, среди ящиков и мешков. Сказав ей, что ему шестнадцать и что он распутник, хотя он был четырнадцатилетним девственником, наш отчаянный гуляка все же не избежал конфуза, когда, подбадривая свою неопытность, лишь запачкал гостеприимный коврик у входа тем, что она с радостью помогла бы ему внести внутрь. Дело пошло на лад шестью минутами позже, после того, как Чешир и Зографос сменили один другого; но только на следующей половой вечеринке Ван по-настоящему начал наслаждаться ее податливостью, нежностью ее мягкой хватки и отзывчивой вибрацией. Он знал, что она была только жирной розовой шлюшкой, и локтем отводил ее лицо, когда она тянулась поцеловать его в конце, и быстрым движением руки проверял, на месте ли бумажник в заднем кармане, заметив, что так делает Чешир; и все же, когда последний из приблизительно сорока спазмов пришел и ушел обычным путем осыпающегося времени и его поезд катил мимо черных и зеленых квадратов полей в Ардис, он поймал себя на том, что наделяет нежданной поэзией ее убогий образ, кухонный запах ее рук, влажные ресницы во внезапном озарении Чешировой зажигалки, и даже скрипучие шаги старой глухой миссис Гимбер, доносившиеся из ее спальни наверху.

В элегантном отделении первого класса, вложив руку в перчатке в бархатную стенную петлю, особенно остро ощущаешь себя человеком светским, как ощущал он, обозревая искусный ландшафт, искусно проносящийся мимо. Однако блуждающий взгляд пассажира то и дело застыл на мгновение, когда он прислушивался к легкому зуду там, внизу, который, как он надеялся (и его надежда, слава Логу, оправдалась), был всего лишь следствием незначительного раздражения эпителия.

5

Около трех часов пополудни он сошел с двумя чемоданами в солнечное умиротворение маленькой деревенской станции; отсюда петлистая дорога вела в Ардис-Холл, в который он приехал погостить впервые в жизни. На воображаемой миниатюре ему рисовалась ожидающая его оседланная лошадь; не было даже двуколки. Станционный смотритель, дородный, черный от солнца человек в коричневом мундире, был уверен, что Вана ждут с вечерним поездом, не таким скорым, как этот, зато имеющим чайный салон. Через минуту позвоню в усадьбу, добавил он, подавая сигнал нетерпеливому машинисту. В этот самый миг к перрону подкатил наемный экипаж – рыжеволосая дама, держа в руках соломенную шляпу и смеясь своей спешке, подбежала к вагону и едва успела взойти, как поезд тронулся. Что ж, Ван воспользуется этим средством передвижения, предоставленным ему случайной складкой в текстуре времени, и сядет в старую коляску. Получасовая поездка не была лишена приятности. Путь пролегал через сосновые леса и вдоль скалистых оврагов, где в цветущем подлеске гомонили птицы и другая живность. По его ногам скользили солнечные пятна и кружева теней, ссужавшие свой зеленый блеск потерявшей пару медной пуговице на хлястике кучерского камзола. Проехали Торфянку, сонную деревушку, состоявшую из нескольких изб, мастерской по луженью подошников да утопающей в жасминовых кустах кузницы. Автомедон приветственно махнул рукой невидимому приятелю, и чуткий шарабанчик слегка вильнул, вторя его жесту. Теперь мчали по пыльной проселочной дороге, идущей вдоль полей. Дорога шла то под гору, то в гору, и на каждом подъеме старенький заводной таксомотор сбавлял ход, будто вот-вот уснет, и нехотя одолевал свою слабость.

Тряслись по булыжной мостовой Гамлета, наполовину русской деревни, где шофер вновь помахал, на этот раз мальчишке, взобравшемуся на вишню. Березы расступились, пропуская их на старый мост. Блеснула Ладора, с ее руинами черного замка на утесе и яркими разноцвет-

ными крышами вдали, вниз по течению, чтобы вновь и вновь потом возникать в памяти на протяжении всей его жизни.

Растительность приобрела более южный вид, когда узкая дорога начала огибать парк Ардиса. За следующим поворотом, на благородном возвышении старых романов, возник романтический дворец. То была великолепная усадьба в три этажа, выстроенная из светлого кирпича и темно-красного камня, которые при том или ином освещении словно обменивались оттенками и составом. Несмотря на разнообразие, раскидистость и оживленность высоких деревьев, давно заменивших два ровных ряда стилизованных саженцев (намеченных скорее мыслью архитектора, чем отмеченных глазом художника), Ван сразу узнал Ардис-Холл по двухсотлетней акварели, висевшей в отцовской гардеробной: стоящая на холме усадьба, обращенная к условной луговине, с двумя крошечными людьми в треуголках, беседующими вблизи стилизованной коровы.

Ван приехал в то время, когда никого из членов семьи в доме не было. Дежурный слуга принял у него повода. Ван прошел под готический свод зала, где Бутейан, старый лысый дворецкий, отравивший неподобающие его званию усы (выкрашенные в цвет мясной подливки), увидев его, всплеснул руками, – в прошлом он служил камердинером у отца Вана, – «*Je parie, –* сказал он, – *que Monsieur ne me reconnait pas*», – и принялся рассказывать о том, что Ван и так вспомнил, о фарманекене (коробчатый воздушный змей, его теперь не сыскать и в самых крупных музеях старинных игрушек), которого Бутейан однажды помог ему запустить на заросшей лютиками поляне. Оба посмотрели вверх: крошечный красный прямоугольник на мгновение косо повис в синем весеннем небе. Зал славился своими расписными потолками. Для чая еще слишком рано: желает ли Ван, чтобы он сам разобрал и разложил его вещи, или позвать горничную? О, пусть кто-нибудь из горничных, – сказал Ван, быстро перебрав в уме содержимое своих чемоданов: какой из предметов в багаже школьника мог бы смутить горничную? Фотография обнаженной Айвори Ревери (манекенщицы)? Да кому какое дело, теперь, когда он стал мужчиной.

По совету дворецкого он отправился на *tour du jardin*. Идя по выющейся между деревьев дорожке, неслышно ступая по мягкому розовому песку своими форменными полотняными туфлями на каучуковой подошве, он набрел на даму, в которой с отвращением узнал свою бывшую французскую гувернантку (усадьба просто кишела призраками!). Она восседала на зеленой скамье под персидской сиренью, держа в одной руке парасоль, а в другой книгу, которую читала маленькой девочке, а та ковыряла в носу и с мечтательным удовлетворением оглядывала палец, прежде чем обтереть его о край скамьи. Ван решил, что это, должно быть, Арделия, старшая из двух его кузин, с которыми он должен был познакомиться во время каникул в Ардис-Холле. На самом деле то была Люсетта, младшая девочка, обыкновенный ребенок лет восьми, с блестящей челкой рыжевато-русых волос и усеянной веснушками кнопкой носа; она недавно оправилась от весенней пневмонии и все еще имела тот странный отрешенный вид, который дети, особенно озорные, сохраняют какое-то время, соприкоснувшись со смертью. Мадемуазель Ларивьер взглянула на Вана поверх зеленых очков – и ему пришлось вынести еще одну теплую встречу. В отличие от Альберта, она несколько не изменилась с тех пор, как трижды в неделю приходила в городской особняк Черного Вина с полной сумкой книг и маленьким дрожащим пуделем (уже издохшим), которого нельзя было оставлять одного. Его глазки блестели, помнится, как грустные черные маслины.

Все трое направились обратно в дом – гувернантка, под муаром зонтика все еще качавшая в кручине воспоминаний головой с крупным носом и выдающимся подбородком, Люси, со скрежетом волокущая садовую мотыгу, подобранную по дороге, и юный Ван в элегантном сером костюме и мягком галстуке, заложивший руки за спину и глядящий на свои легко и бесшумно ступающие ноги, которые он зачем-то старался ставить в линию.

К крыльцу подкатила виктория. Из нее вышла дама, похожая на мать Вана, и темно-волосая девочка лет одиннадцати-двенадцати, в сопровождении семенящей таксы. Ада несла охапку полевых цветов. На ней было белое платье и черный жакет, ее длинные волосы были схвачены белым бантом. Он больше ни разу не видел ее в такой одежде, и впоследствии, упоминая это платье и жакет в ретроспективном воскрешении образов, неизменно слышал от Ады, что они ему, должно быть, привиделись, поскольку у нее никогда не было подобных вещей и она никогда не надевала черный жакет в такие жаркие дни, но Ван оставался верен этому изначальному впечатлению.

Лет десять тому назад, незадолго до или вскоре после его четвертого дня рождения и к концу долгого пребывания его матери в санатории, «тетя» Марина как-то набросилась на него в публичном парке, когда он стоял у большой клетки с фазанами. Она посоветовала его няне не вмешиваться не в свое дело и повела Вана к киоску со сладостями возле оркестровой раковины, где купила ему изумрудную палочку мятной тянучки и сказала, что, если только его отец пожелает, она заменит ему маму и что нельзя кормить птиц без разрешения леди Амхерст – во всяком случае, так он ее понял.

Теперь они пили чай в красиво обставленном углу в остальном весьма аскетичного главного зала, из которого наверх вела парадная лестница. Они сидели на обитых шелком стульях вокруг изящного стола. Черный жакет Ады и розово-желто-голубой букет, составленный ею из анемонов, чистотела и водосбора, лежали на дубовом табурете. Собаке досталось больше кусочков пирога, чем обычно. Прайс, старый лакей со скорбным выражением на лице, принесший сливок к землянике, походил на учителя истории Вана, «Джиджи» Джонса.

«Он похож на моего учителя истории», сказал Ван, когда слуга ушел.

«Я очень любила историю, – сказала Марина. – Мне нравилось отождествлять себя со всякими знаменитыми женщинами. У тебя божья коровка на тарелке, Иван. Особенно с известными красавицами – второй женой Линкольна или королевой Жозефиной».

«Да, я заметил – не отличить от настоящей. У нас дома есть такой же сервиз».

«Сливки? Надеюсь, ты говоришь по-русски?» – спросила Марина Вана по-русски, наливая ему полную чашку чая.

«Неохотно, но совершенно свободно, – ответил Ван, слегка улыбнувшись. – Да, побольше сливок и три куса сахара».

«Мы с Адой разделяем твои экстравагантные вкусы. Достоевский предпочитал пить чай с малиновым вареньем».

«Пах!», вырвалось у Ады.

Над Мариной на стене висел ее портрет кисти Трешама, довольно удачный, изображавший ее в пышной шляпе, в какой она репетировала Охотничью Сцену десять лет тому назад, – романтично широкополой, с радужным крылом и большим наклонным плюмажем, серебристым, с черной каймой, – и Ван, вспомнив клетку в парке и свою мать где-то в ее собственной клетке, испытал странное ощущение таинственности происходящего, как если бы истолкователи его судьбы сошлись для секретного совещания. Лицо Марины в тот день было подкрашено так, чтобы напоминать ее прежний облик, но моды сменились, ее ситцевый сарафан был простоват, золотисто-каштановые локоны поблекли и уже не струились вдоль висков, и ничто в ее облачении или украшениях не напоминало взмаха ее стремительного хлыста на картине и безупречного узора ее сверкающего плюмажа, переданного Трешамом с орнитологической тщательностью.

Не так уж много осталось в памяти с того первого чаепития. Он подметил уловку Ады, которая прятала ногти, сжимая кулак или протягивая руку за бисквитами ладонью вверх. Все, о чем говорила ее мать, казалось ей или скучным, или неприличным, и когда та завела речь о Тарне, иначе называемом Новым Водоемом, он заметил, что Ада уже не сидит рядом с ним, но стоит чуть поодаль, спиной к чайному столику, у открытого окна, а рядом с ней на стуле

худенькая в боках такса – тоже смотрит в сад поверх растопыренных передних лап, и Ада тихо спрашивает ее, что она там унюхала.

«Тарн виден из окна библиотеки, – сказала Марина. – Сейчас Ада покажет тебе все комнаты в доме. Ада?» (Она произнесла ее имя на русский манер, с двумя глубокими, темными «а», что напоминало звучание английского «ardor» – жар, страсть, отрада.)

«Отсюда тоже виден его блестящий краешек», сказала Ада, оборачиваясь и, *pollice verso*, указывая Вану направление. Он поставил чашку, вытер губы тонкой вышитой салфеткой, сунул ее в карман брюк и подошел к темноволосой белокурой девочке. Когда он наклонился над ней (Ван был выше на три дюйма, и эта разница еще удвоилась ко дню ее венчания по православному обряду, когда его тень держала сзади над ее головой свадебный венец), она повернула голову так, как должен был сделать он, чтобы поймать верный угол, и ее волосы скользнули по его шее. В его первых мечтах о ней повторение этого прикосновения, такого легкого, такого короткого, приводило к тому, чему мечтатель не мог противостоять, и, как поднятая вверх сабля подает сигнал к залпу, вызывало неистовое и неизбежное разрешение.

«Допей чай, сокровище мое», позвала Марина.

Затем, следуя ее предложению, дети отправились наверх. «Отчего ступени так громко скрипят, если только двое детей поднимаются по лестнице? – подумала она, глядя на балюстраду, по которой синхронно перебирали две левые руки, удивительно похоже хлопая и скользя по дереву, как брат с сестрой на первом уроке танцев. – В конце концов, мы же с сестрой близнецы, все это знают». Еще один такой же плавный взмах, чтобы одолеть две последние ступени, она впереди, он сзади, и вновь наступила тишина. «Старомодные страхи», сказала Марина.

6

Ада показала своему застенчивому гостю большую библиотеку на втором этаже, гордость Ардиса и ее любимое «пастбище», куда ее мать никогда не заглядывала, довольствуясь несколькими томами «Тысячи и одной лучшей пьесы» у себя в будуаре. Рыжий Вин, неврастеник и трус, обходил библиотеку стороной, боясь столкнуться с призраком своего отца, умершего там от сердечного удара; он, кроме того, не находил ничего более удручающего, чем бесконечные собрания сочинений бесчисленных авторов, хотя и не был против того, чтобы заезжий гость выразил свое восхищение высотой книжных шкафов и длиной картотечных ящиков, темными картинами маслом и белыми бюстами, десятью резными ореховыми стульями и двумя благородными столами, инкрустированными черным деревом. На лектерне в косом ученом луче солнца лежал ботанический атлас, раскрытый на цветной иллюстрации с изображением орхидей. Нечто вроде дивана или оттоманки, обтянутой черным бархатом, с двумя желтыми подушками, помещалось в алькове, под окном с зеркальными стеклами, из которого открывался прекрасный вид на регулярный парк и рукотворное озеро. Пара подсвечников, обычных фантомов из металла и сала, стояли снаружи, или так казалось, на широком оконном карнизе. Ведущий из библиотеки коридор привел бы наших безмолвных исследователей к комнатам г-жи и г-на Вин в западном крыле, если бы они продолжили свой осмотр в этом направлении. Вместо того полусекретная узкая лестница, спрятанная за поворотным книжным шкафом, вывела их по спирали на верхний этаж: она, с бледными ляжками, поднималась первой, шагая через ступень, а он на три крутых ступени позади нее.

Спальни и смежные с ними помещения оказались более чем скромными, и Ван не мог не посетовать на то, что был, по-видимому, еще слишком юн, чтобы занять одну из двух гостевых комнат рядом с библиотекой. Оглядев отталкивающие предметы, которым предстояло окружать его во время одиночества летних ночей, он с ностальгией вспомнил роскошь своего дома. Все поражало его, все как будто предназначалось для униженного кретина: убогая монастыр-

ская кровать со средневековым изголовьем из грубой доски, произвольно скрипящий платяной шкаф, низкий комод поддельного красного дерева с висячими звеньями ручек (одной не хватало), сундук для пледов и одеял (застенчивый перебежчик из бельевой) и старое бюро, подвижная куполообразная крышка которого была или заперта, или сломана; он нашел в одном из его бесполезных отделений отвалившуюся от комода ручку, которую отдал Аде, а та выбросила ее в окно. Ван никогда прежде не пользовался подставкой для полотенец, никогда не видел умывальника с кувшином, предназначенного для жилищ, лишенных ванн и комнат. Круглое зеркало над раковиной было украшено золочеными гипсовыми гроздьями винограда, ветхозаветный змий вился по краю фарфорового таза (второй такой же имелся в одной из уборных девочек, отделенных коридором). Кресло с подлокотниками и высокой спинкой да табурет у кровати, на котором стояла пара медных подсвечников с держателем и чашечкой для жира (такую же пару он только что как будто видел в отражении – но где?), довершали худшую и главную часть смиренного инвентаря.

Они вновь вышли в коридор, она – поправляя волосы, он – прочищая горло. Дальше по коридору дверь какой-то комнаты, игровой или детской, то отворялась, то затворялась: маленькая Люсетта, выставив розовую коленку, выглядывала из нее и снова пряталась. Затем дверь вдруг широко раскрылась, но девочка ринулась в глубину комнаты и там исчезла. Синие парусники украшали белые изразцы печки, и когда он с Люсеттиной сестрой проходил мимо распахнутой двери, игрушечная шарманка призывно, но с заминками, начала исполнять короткий менуэт. Ада и Ван вернулись на первый этаж, на этот раз проделав весь путь по роскошной лестнице. Из множества портретов предков на стене, мимо которых они проходили, она обратила внимание Вана на своего любимца – старого князя Всеслава Земского (1699–1797), друга Линнея и автора «*Flora Ladogica*». Портрет густыми масляными красками изображал его в сидячем положении, держащим на атласных коленях свою едва опушившуюся новобрачную и ее белокурую куклу. Рядом с любителем нежных бутонов в расшитом камзоле висела довольно неуместная, как подумал Ван, увеличенная фотография в простой раме – покойный Сумеречников, американский предшественник братьев Люмьер, запечатлел дядю Ады, брата Марины, в профиль, с прижатой к щеке скрипкой, – обреченный юноша после своего прощального концерта.

Желтая гостиная на первом этаже, обитая штофом и обставленная в том стиле, какой французы некогда называли «ампир», выходила в сад, и теперь, к концу дня, через ее порог протянулись длинные тени больших листьев павловнии (названной так нерадивым лингвистом, как пояснила Ада, по отчеству, ошибочно принятому за имя или фамилию одной безобидной дамы, Анны Павловны Романовой, кухни ботаника Земского, учителя того самого плохого лингвиста, отец которой был отчего-то прозван Павлом-без-Петра, – это невыносимо, подумал Ван). Горка (закрытый стеклянный шкаф) вмещала целый зверинец мелких фарфоровых животных, среди которых орикс и окапи, снабженные научными названиями, были особенно рекомендованы Вану его очаровательной, но невозможно манерной спутницей. Не менее примечательна была пятистворчатая ширма с красочными картинами на черных панелях, воспроизводившими древнейшие карты четырех с половиной континентов. А теперь мы проходим в музыкальный салон с почти не тронутым роялем и идем дальше, в угловую комнату, называемую «Оружейной», где хранится чучело шотландского пони, на котором однажды имела удовольствие прокатиться верхом тетка Дана Вина, девичья фамилия вылетела из головы (слава Логу). На другой (или какой-то другой) стороне дома находилась танцевальная зала, волшебная пустошь с несчастливыми желтофиолевыми стульями. «Мимо, читатель», как писал Тургенев. «Денники», как неверно их называли в графстве Ладора, в Ардис-Холле были устроены с архитектурной точки зрения довольно нелепо: решетчатая галерея глядела через увитое гирляндами плечо в сад и круто сворачивала к подъездной аллее. В другом месте элегантная лоджия с высокими окнами вывела умолкшую, наконец, Аду и несказанно томящегося Вана к

беседке из дикого камня – фальшивый грот с бесстыдно льнущими к нему папоротниками и искусственным водопадом, проистекающим из какого-то ручья или романа, или из горящего мочевого пузыря Вана (все этот проклятый чай).

Помещения для прислуги, за исключением двух подкрашенных и напудренных горничных, живших наверху, располагались в цокольном этаже со стороны двора. Ада сказала, что однажды, на особенно пытливой стадии детства, она заглянула в них, но запомнила лишь канарейку и старинную кофейную мельницу, что, собственно, исчерпывало тему.

Они вновь взмыли вверх по лестнице. Ван на минуту исчез в ватерклозете – и вышел из него в гораздо лучшем расположении духа. Карликовый Гайдн вновь сыграл несколько тактов, когда они проходили мимо.

Чердак. Ну, вот чердак. Прошу на чердак. Чего там только не было: десятки баулов и картонных коробок, две коричневые кушетки, одна на другой, как совокупляющиеся жуки, и множество картин, стоявших по углам или на полках, лицом к стене, будто наказанные за провинность дети. Там же хранился свернутый в своем футляре старенький «ковролет», иначе «феероплан», – выцветший, но все такой же сказочный синий ковер-самолет с арабскими узорами, на котором еще отец дяди Дана летал в детстве, да и позже, когда бывал пьян. Из-за многочисленных столкновений, падений и других несчастных случаев, особенно частых на закате, над идиллическими полями, ковролеты были запрещены воздушным дозором, но четырьмя годами позже Ван, любивший этот вид спорта, подкупил местного механика, чтобы тот вычистил аппарат, перезарядил его ястребиные трубки и в целом привел ковер в волшебное состояние, после чего Ван со своей Адой провел немало летних вечеров, паря над рощами и рекой или скользя на безопасной десятифутовой высоте над поверхностью дорог и крыш. Как смешон завалившийся и съехавший в канаву велосипедист, как странен скольльзящий по скату кровли, балансирующий марионеточными руками трубочист!

Смутно сознавая, что, пока длится осмотр дома, они, по крайней мере, заняты «делом», сохраняют видимость последовательных действий, без чего, несмотря на превосходное умение каждого из них поддерживать беседу, неизбежно возник бы ужасный вакуум стесненного покашливания, который нечем заполнить, кроме неловкой остроты с «повисающим» следом молчанием, Ада не избавила кузена от посещения подвала, где барабан автоматической печи дрожал и громыхал, мужественно нагоняя жар в трубы, змеями уползавшими в огромную кухню и две унылые ваннные комнаты, и выбивался из слабых сил, чтобы замок оставался пригодным для праздничных посещений зимой.

«Ты еще не все видел! – крикнула Ада. – Осталось подняться на крышу!»

«Но это будет наше последнее восхождение сегодня», твердо сказал себе Ван.

Из-за чехарды наложившихся один на другой стилей и настилов (что нелегко описать без специальных терминов тому, кто не любит крыши), а также в силу бессистемной череды реконструкций, если это подходящее слово, черепичная кровля ардисовского дворца являла собой неопикуемый лабиринт углов и уровней, жестяно-зеленых и ребристо-серых поверхностей, живописных гребней и защищенных от ветра уголков. Здесь можно было сколько угодно милоститься и целоваться, обзоревая в то же время искусственное озеро, рощи и луга, чернильную линию лиственниц, отмечающих границу соседнего имения в нескольких верстах отсюда, и безобразные крошечные силуэты нескольких более или менее безногих коров на далеком холме. А за каким-нибудь выступом легко можно было укрыться от нескромных планеристов или фотографирующих аэростатов.

С террасы донесся бронзовый звон гонга.

Дети почему-то вздохнули с облегчением, узнав, что к обеду ожидается незнакомец. Им оказался андалузский архитектор, которому дядя Дан заказал для Ардиса проект «художественного» плавательного бассейна. Дядя Дан тоже собирался приехать с переводчиком, но

подхватил русский «хрипъ» (испанский «грипп») и по дорофону попросил Марину принять добрейшего Алонсо как можно любезнее.

«Мне нужна ваша помощь!» – обратилась Марина к детям с озабоченным видом.

«Ему будет интересно взглянуть, полагаю, – сказала Ада, повернувшись к Вану, – на совершенно бесподобный натюрморт Хуана де Лабрадора из Эстремадуры – золотой виноград и таинственная роза на черном фоне. Дан уступил его Демону, а Демон пообещал подарить его мне к моему пятинадцатилетию».

«У нас еще есть кое-какие плоды Сурбарана, – сказал Ван горделиво. – Кажется, мандарины и что-то вроде смоквы, на которой сидит оса. Да мы просто ошеломям гостя всякими такими штуками!»

Но ничуть не бывало. Алонсо, маленький морщинистый человек в двубортном смокинге, говорил только по-испански, в то время как принимающая сторона располагала всего полдюжиной испанских слов. У Вана нашлись *sanastila* (корзинка) и *pubarrones* (грозовые тучи), которые он запомнил из чудного испанского стихотворения с переводом *en regard* в своем школьном учебнике. Ада знала, разумеется, *mariposa* (бабочка) и названия двух-трех птиц, упомянутых в орнитологических справочниках, таких как *paloma* (голубь) и *grevol* (рябчик). Марина припомнила только два: *agota* и *hombre*, не считая анатомического термина с «j», висящим посередине. Не удивительно, что беседа свелась к длинным и сбивчивым испанским предложениям, которые многоречивый архитектор произносил так громко, как будто имел дело с глухими, и к коротким французским фразам, умышленно, но напрасно итальянизированным его жертвами. По завершении мучительного обеда Алонсо в свете трех фонарей, несомых двумя лакеями, осмотрел предполагаемое место сооружения дорогостоящего бассейна, поместил обратно в портфель план приусадебной части парка и, по ошибке поцеловав в темноте ручку Ады, поспешил проститься, чтобы сесть на последний поезд, идущий на юг.

7

Вскоре после «вечернего чая» – легкой летней трапезы практически без чая, подававшейся часа через два после обеда и казавшейся Марине такой же естественной и неизбежной, как закат перед наступлением ночи, – Ван с саднящими веками отправился спать. В Ардис-Холле это рутинное русское угощение состояло из простокваши (английская гувернантка переводила это название как «*curdsand-whey*», а мадемуазель Ларивьер как *lait caillé*, «свернувшееся молоко»), тонкий кремовый верхний слой которой маленькая мисс Ада деликатно, но алчно (два эти наречия можно было отнести ко многим твоим действиям, Ада!) снимала своей особой серебряной ложечкой с монограммой V и слизывала, прежде чем ринуться в более рыхлые и сладкие глубины; к простокваше подавали черный крестьянский хлеб, темную клубнику (*Fragaria elatior*) и крупную, ярко-красную садовую землянику (гибрид двух других видов *Fragaria*). Едва Ван успел коснуться щекой плоской прохладной подушки, как его бесцеремонно разбудил оглушительный гвалт – ликующий щебет, тонкий свист, чириканье, трели, верещанье, резкое карканье и нежное пенье – все это Ада, подумал он не без оторопи человека, не состоящего в одюбоновском стане, легко могла бы и пожелала бы разложить на отдельные голоса определенных птиц. Он надел мокасины, взял мыло, гребенку, полотенце и, прикрыв наготу махровым халатом, покинул спальню с намерением выкупаться в ручье, который заметил накануне. Коридорные часы отчетливо ток-такали в рассветной тишине, нарушаемой лишь громким храпом, доносившимся из комнаты гувернантки. Немного поколебавшись, он решил воспользоваться уборной, относящейся к детской. Там сквозь отворенную узкую створку окна на него хлынул неистовый птичий гомон и яркий солнечный свет. Он был в порядке, в полном порядке! На главной лестнице Вана первым встретил отец генерала Дурманова, проводивший его важным взглядом до старого князя Земского и других пращуров, столь же сдержанно при-

стальных, как музейная стража, следящая за единственным туристом в сумрачном старинном дворце.

Оказалось, что парадная дверь надежно заперта на засов и на цепь. Он толкнул решетчатую стеклянную дверь увитой синими цветами галереи – тоже заперто. Не зная еще, что под лестницей в неприметной нише хранились запасные ключи (в том числе несколько очень старых и анонимных, висевших на медных крючках) и что сама эта ниша сообщается через садовую кладовую с уединенной частью сада, Ван побрел по анфиладе комнат на поиски услужливого окна. В угловой комнате у высокого двухстворчатого окна стояла молоденькая горничная, которую он приметил накануне вечером, пообещав себе узнать ее поближе. На ней было то, что его отец с ухмылкой напускного сладострастия определял как «черные оборки и сборки робкой субретки». В ее каштановых волосах янтарным блеском отливал черепаховый гребень; она стояла у открытого окна, высоко опершись о косяк рукой, украшенной аквамариновой звездочкой, и глядела на воробья, который короткими прыжками подбирался к брошенной ею на мощеную дорожку половине печенья, похожего из-за круглых фестончиков на носок младенческой ступни. Камеевый профиль, маленькие розовые ноздри, длинная, лилейно-белая шея француженки, очертания ее тела, вместе и полного и хрупкого (мужская похоть не слишком изощрена в описательных тонкостях!), и особенно свирепое ощущение ее доступности так сильно опьянили Вана, что он не удержался и сжал ее поднятое запястье в обтягивающем рукавчике. Высвободившись и показав своим невозмутимым видом, что она заметила его появление, девушка обратила к нему свое привлекательное, хотя почти безбровое лицо и спросила, не желает ли он выпить чаю до завтрака? Нет. Как тебя зовут? Бланш, но мадемуазель Ларивьер зовет меня Золушкой, оттого что чулки то и дело сползают – вот, видите, – и оттого что я все роняю и кладу не на место и еще путаю цветы. Свободный крой его одежд не укрывал его надежд, и девица, пусть даже страдающая дальтонизмом, не могла не заметить этого. И когда он еще приблизился к ней, выглядывая поверх ее головки подходящую кушетку или то, что примет ее форму в каком-нибудь уголке этого волшебного замка, в котором *любое* место, как в мемуарах Казановы, способно было преобразиться в покои сераля, она окончательно вывернулась из его полуобъятий и разразилась небольшим монологом на своем мягком ладорском французском:

«Monsieur a quinze ans, je crois, et moi, je sais, j'en ai dixneuf. Monsieur дворянин, а я – бедная дочь своего отца, роющего торф на болотах. Monsieur a tâté, sans doute, des filles de la ville; quant à moi, je suis vierge, ou peu s'en faut. De plus, если я полюблю вас, я имею в виду, по-настоящему, а я, увы, способна на это, если бы вы овладели мною, *rien qu'une petite fois*, – это бы означало для меня лишь горе, и геенну огненную, и отчаяние, и даже смерть, Monsieur. Finalement, я могу прибавить, что у меня бели и что я должна посетить le Docteur Chronique, то есть Кролика, в ближайший свой свободный день. Теперь нам надо разлучиться – воробышек, как я вижу, пропал, а господин Бутейан вошел в соседнюю комнату и может увидеть нас в том зеркале над софой за шелковой ширмой». «Прости, милая», пробормотал Ван (которого ее странный, трагический тон совершенно охладил), и это прозвучало так, будто он играл главную роль в пьесе, но знал из нее лишь одну эту сцену.

В зеркале рука дворецкого взяла откуда-то графин и исчезла. Ван, потуже затянув поясок халата, прошел через французское окно в зеленую явь сада.

8

Тем же утром или через день-другой, на террасе:

«Mais va donc jouer avec lui, – сказала м-ль Ларивьер, подталкивая Аду, чьи юные ягоды раздельно вздрагивали от сотрясения. – Не позволяй своему кузену *se morfondre* в такой

погожий денек. Возьми его за руку. Пойди и покажи ему белую даму на твоей любимой аллее, и гору, и большой дуб».

Ада, пожав плечами, повернулась к нему. Прикосновение ее холодных пальцев и влажной ладони, та принужденность, с какой она откинула назад волосы, когда они шли по главной парковой аллее, вызвали в нем ответную скованность, и Ван, воспользовавшись тем, что под ногами оказалась сосновая шишка, высвободил руку. Он метнул шишку в мраморную деву, склоненную над стамносом, но лишь спугнул птицу, сидевшую на краю ее разбитого кувшина.

«Нет ничего пошлее на свете, – сказала Ада, – чем швыряться камнями в дубоноса».

«Прости, – ответил Ван, – я не хотел напугать птичку. К тому же я не какой-нибудь деревенский парубок, где мне отличить шишку от камня. Au fond, в какие игры, по ее мнению, мы должны играть?»

«Je l'ignore, – сказала Ада. – Мне совершенно все равно, что происходит в ее бедном мозгу. В каш-каш, наверное, или лазать по деревьям».

«О, в этом я силен, – сказал Ван. – Могу даже взбираться на одних руках, перемахивая с ветки на ветку».

«Нет, – сказала она, – мы будем играть в мои игры. Игры, которые я сама придумала. В такие игры, в которые бедняжка Люсетта, надеюсь, сможет со мной играть через год. Хорошо, идем. Я научу тебя сперва двум играм из серии „тень и свет“».

«Понятно», сказал Ван.

«Станет через минуту, – парировала прелестная резонерша. – Перво-наперво подыщем подходящую палку».

«Гляди-ка, – сказал Ван, все еще слегка задетый, – прилетел такой же *зубоскал*, то есть дубонос».

К этому времени они достигли *gond-point* – небольшой арены, окруженной клумбами и зарослями жасмина в пышном цвету. Подняв руки, липа тянулась к ветвям дуба, будто красotka в зеленом с блестками трико, летящая к своему сильному отцу, который висит вниз головой, захватив ногами трапецию. Уже тогда мы оба знали толк в этих небесных материях, уже тогда.

«Есть что-то акробатическое в этих ветках, не так ли?» – сказал он, указывая.

«Да, – сказала она. – Я заметила это давным-давно. Липа – это парящая под куполом итальянка, а старый дуб терзается мукой, мукой бывшего любовника, но все равно раз за разом ловит ее» (невозможно передать верную интонацию, сообщая при этом всю полноту смысла – по прошествии восьми десятков лет! – но пока они глядели вверх, а потом вниз, она сказала что-то весьма необычное, что-то такое, что совсем не вязалось с ее нежным возрастом).

Глядя себе под ноги и взмахивая позаимствованным у пионов острым зеленым колышком, Ада объясняла правила первой игры.

Падавшая на песок тень листьев перемежалась кружками солнечного света. Игрок выбирает один такой кружок – чем ярче, тем лучше – и обводит его по контуру колышком. От этого желтый кружок становится как будто выпуклым, вроде поверхности залитой в лунку до краев золотой краски. Затем игрок палкой или пальцами осторожно выгребает из кружка землю. Уровень этого мерцающего *infusion de tilleul* начинает чудесным образом понижаться в своем земляном кубке, пока не уменьшится до размера одной-единственной драгоценной капли на доньшке. Побеждает тот, кто создаст больше таких кубков за, скажем, двадцать минут.

«И это все?» – недоверчиво спросил Ван.

«Нет, не все».

Обкапывая правильной формы маленький кружок вокруг особенно яркого золотого сгустка, Ада присела на корточки и так перемещалась – черные волосы струились по подвижным, гладким и белым, как слонобая кость, коленям, двигались локти и бедра, одной рукой она держала палку, другой отбрасывала мешавшие пряди. Легкий ветер вдруг затенил ее золо-

тую лужицу. Когда такое случается, игрок теряет очко, даже если лист или облако поспешат убратся.

Хорошо. А вторая игра?

Вторая игра (начала она нараспев) может показаться немного сложнее. В нее надлежит играть после полудня, когда тени длиннее. Игрок —

«Перестань говорить игрок. Это либо ты, либо я».

«Пусть ты. Ты обводишь на песке мою тень за моей спиной. Я делаю шаг вперед. Ты обводишь снова. Затем отмечаешь следующую границу (отдает ему колышек). Если теперь я сделаю шаг назад —»

«Знаешь, — сказал Ван, отбрасывая палку, — по-моему, это самые скучные и глупые игры, когда-либо и кем-либо придуманные, до или после полудня».

Она ничего не ответила, но ее ноздри сузились. Ада подобрала колышек и воткнула его на прежнее место, яростно и глубоко, в садовый чернозем, рядом с благодарным цветком, который она подвязала к нему, молча склонив голову. Она пошла обратно к дому. Вану подумалось, станет ли ее походка изящнее, когда она вырастет?

«Я грубый невоспитанный мальчик, прости меня, пожалуйста», сказал он.

Она кивнула, не оборачиваясь. В знак частичного примирения она показала ему два крепких крюка, пропущенных через стальные кольца на стволах тюльпанных деревьев, между которыми еще до ее рождения другой мальчик, тоже Иван, брат ее матери, подвешивал гамак, в котором спал в середине лета, когда ночи особенно жаркие — как-никак, мы находимся на широте Сицилии.

«Прекрасная мысль, — сказал Ван. — Кстати, сильно ли жгутся светлячки, если попадают на кожу? Просто спросил. Еще один глупый вопрос городского подростка».

Затем она показала ему, где хранится гамак, вернее, целая коллекция гамаков — парусиновый мешок, набитый прочными мягкими сетями: в углу полуподвальной кладовой для инструментов и садовых принадлежностей, за сиренью, а ключ прячут в этой трещине, здесь в прошлом году птица свила гнездо — неважно какая. Стрела солнечного луча окрасила зеленой краской длинный ящик с набором предметов для крокета — правда, шары растерялись, их скатили с холма буйные дети, маленькие Эрминины, теперь ровесники Вана, ставшие очень смиренными и покладистыми.

«Как и все мы в этом возрасте», сказал Ван и наклонился, чтобы поднять гнутый черепаховый гребень, каким девушки скрепляют волосы на затылке; он видел такой же, совсем недавно, но где и в чьих волосах?

«Одной из горничных, — сказала Ада. — И эта драная книжка тоже, должно быть, ее: „Les amours du Docteur Mertvago“, мистический роман, написанный пастором».

«Для игры с тобой в крокет, — сказал Ван, — похоже, понадобятся фламинго и ежи».

«Наши списки прочитанных книг не совпадают. Эта „Кларисса в Стране чудес“ одна из тех, о которых мне все твердят с восторгом, причем подразумевается, что этот восторг я непременно разделю после прочтения, так что теперь я испытываю к ней лишь непреодолимое предубеждение. Читал ли ты рассказы мадемуазель Ларивьер? Ну, еще считаешь. Она полагает, будто в одном из своих прошлых метемпсихозных воплощений была завсегдатаем парижских бульваров; соответственно и пишет. Мы можем *прокрасться* отсюда в главный зал через тайный ход, хотя, кажется, нам полагается любоваться *grand chène*, который на самом деле вяз». Нравятся ли Вану вязы? Знает ли он стихотворенье Джойса о двух прачках? Знает, еще бы.

Нравится? Ага. По правде сказать, ему все сильнее нравились сад, птичьи рулады, отрада Ардиса и Ада. Они рифмовались друг с другом. Сказать ей об этом?

«А теперь...», сказала она, остановившись и глядя на него.

«Да, — сказал он. — А теперь?»

«Ладно, хотя, пожалуй, не стоит тебя забавлять после того, как ты растоптал мои круги... Но так и быть, я смягчусь и покажу тебе настоящее диво Ардиса, мой ларвариум, – он находится в комнатке, примыкающей к моей» (которой он еще не видал, как, до сих пор? Подумать только!).

Она тщательно затворила за собой смежную дверь, когда они вошли в то, что походило на образцовый крольчатник – в конце отделанного мрамором зальца (бывшей ванной, как выяснилось). Несмотря на то, что помещение хорошо проветривалось, геральдические витражные окна были широко открыты (так что слышались визгливые крики и освистывание голодного и ужасно недовольного птичьего племени), – от клеток пренеприятно несло сырой землей, гниющими корешками, старой оранжереей и, пожалуй, немного козлом. Прежде чем подпустить его поближе, Ада повозилась с щекотками и решетками, и сладостное пламя, снедавшее Вана с самого начала их невинных забав этого дня, сменилось чувством гнетущей пустоты и подавленности.

«Je raffole de tout ce qui rampe (Обожаю все, что ползает)», сказала она.

«А мне, – сказал Ван, – по душе те существа, которые сворачиваются в пушистый комок, когда коснешься их, те, которые засыпают, как старые собаки».

«Да что ты, они вовсе не *засыпают*, quelle idée, они замирают, это у них короткий обморок, – пояснила Ада, нахмурившись. – И могу себе представить, какое это потрясение для самых маленьких».

«Конечно, я тоже хорошо могу себе это представить. Мне только кажется, что они к этому привыкают, мало-помалу, я хочу сказать».

Но скоро его оторопь, вызванная невежеством, сменилась эстетическим сопереживанием. И многие десятилетия спустя Ван помнил свое восхищение прелестными, голыми, лоснящимися, с яркими точками и полосками гусеницами капюшонницы, такими же ядовитыми, как цветы коровяка, густо растущие вокруг них, и плоской личинкой местной ленточницы, серые бугорки и лиловые бляшки которой имитировали наросты и лишайники на ветке, к которой она прикидала так тесно, что практически сливалась с нею, и, конечно, крошкой кистехвосткой, чья черная шубка по всей длине была украшена цветными пучками щетинок, красными, голубыми, желтыми, неравной длины, напоминающими те прихотливые зубные щетки, которые раскрашены в цвета патентованной палитры. И такого рода сравнение, с его особой окраской, напоминает мне сейчас энтомологические записки в дневнике Ады – который у нас где-то лежит, не так ли, дорогая, не в том ли ящике, нет? Ты так не думаешь? Да! Ура! Вот выдержки (твой округлый почерк, моя любовь, был тогда покрупнее, а в остальном ничего, ничего, ничегошеньки не изменилось):

«Втяжная головка и дьявольские анальные придатки кричаще-пестрого монстра, из которого возникнет невзрачная гарпия большая, принадлежат самой негусеничной гусенице с передними сегментами как кузнечные мехи и физиономией, напоминающей объектив складного фотоаппарата. Если легонько провести пальцем по ее раздутому гладкому тельцу, ощущения довольно шелковые и приятные, – пока разгневанное и неблагодарное создание не выпустит тебе на кожу струйку едкой жидкости из поперечной щели на первом грудном сегменте».

«Д-ру Кролику прислали из Андалусии пять свеженьких личинок недавно открытого локалитета многоцветницы кармен, которые он любезно отдал мне. Очаровательные существа прекрасного нефритового оттенка с серебристыми шипами, и размножаются они только на полувымершей разновидности высокогорной ивы (которую милый Королек тоже добыл для меня)».

(А из этой записи можно узнать, что она к десяти годам, если не раньше, как и Ван, прочитала «Les Malheurs de Swann»):

«Я думаю, Марина перестала бы бранить меня за мое увлечение („Нахожу неприличной возню юной леди с такими мерзкими питомцами...“; „Нормальным барышням подобает испытывать отвращение к змеям и червям...“ и т. д.), если бы мне удалось убедить ее преодолеть старомодную брезгливость и положить себе на ладонь и запястье (длины одной ладони не хватит!) благородную гусеницу орхидейной сфингиды (розово-лиловые тона мосье Пруста), семидюймового гиганта телесного цвета, с бирюзовыми арабесками, вздымающего свою гиацинтовую головку и застывающего так в позе сфинкса».

(Превосходно! – сказал Ван. – Но даже я не смог уловить всех тонкостей, когда был юношей. Так что не будем выпроваживать невежу, который листает книгу и думает: «Ну и насмешник же этот старый В. В.!»)

В конце того, такого давнего, такого близкого лета 1884 года Ван перед отъездом из Ардиса на прощанье заглянул в Адин ларвариум.

Фарфорово-белая, пятнистая гусеница капюшонницы (иначе называемой «акулой»), редкостная драгоценность, благополучно перешла к следующей стадии своей метаморфозы, но уникальная Адина ленточница лорелея («нижнекрылка») погибла, парализованная наездником, которого не обманули все эти остроумные бугорки и грибковидные пятна. Разноцветная зубная щетка уютно окуклилась в косматом коконе, из которого осенью должна была выйти персидская кистехвостка. Две гусеницы гарпии стали даже еще уродливей, но, по крайней мере, обрели более червеобразный и в определенном смысле почтенный вид: их раздвоенные придатки теперь вяло волочились за ними, а свежий фиолетовый пушок скрашивал кубизм их экстравагантной раскраски; они теперь часто поднимали верхнюю часть, держась стойком, и быстро ползали по всему полу своей клетки в припадке предваряющей окукливание подвижности. С той же целью Аква в прошлом году прошла через лес и спустилась в ущелье. Только что вылупившиеся *Nymphalis carmen* сушили лимонные и темно-янтарные крылышки на залитом солнцем пяточке своей решетки – лишь для того, чтобы восторженная и безжалостная Ада придушила их одним коротким сжатием проворных пальцев; одеттин сфинкс, благослови его Господь, превратился в слоноподобную мумию с комично торчащим хоботком германтоидного типа; а д-р Кролик резво гнался на коротких ножках за очень редкой белянкой (высоко в горах, выше границы распространения леса, в другом полушарии), известной как *Antocharis ada* Krolik (1884), пока ее не переименовали в *A. prittwitzi* Stümper (1883) согласно неумолимому правилу таксономического приоритета.

«Хорошо, но потом, когда все эти твари выбираются из своих коконов, – спросил Ван, – что ты с ними делаешь?»

«Ах, я отдаю их помощнику доктора Кролика, – ответила она, – тот расправляет их, снабжает ярлычками и распределяет, приколов, в специальных стеклянных лотках, помещая их в чистый дубовый шкаф, который достанется мне, когда я выйду замуж. Тогда у меня будет большая коллекция, и я продолжу разводить всевозможную лепидоптеру – я мечтаю открыть специальный институт по изучению личинок нимфалид и фиалок – всех тех видов фиалок, на которых они размножаются. Мне бы доставляли яйца или гусениц на скоростных аэропланах со всей Северной Америки, вместе с их кормовыми растениями – фиалкой вечнозеленой с Западного побережья, и Полосатой фиалкой из Монтаны, и фиалкой Наттоллы, и Эгглестонской из Кентукки, и редкой белой фиалкой с укромного болота вблизи безымянного озера на полярной горе, где порхает Кроликова болория вересковая. Разумеется, когда они появля-

ются на свет, их легко можно спаривать вручную – держишь их – иногда довольно долго – вот так, сложивших крылышки (показывает, как именно нужно держать, забыв о своих неприглядных ногтях), самца в левой руке, а самочку в правой, или наоборот, чтобы они соприкасались кончиками тельцев, – но они должны быть совсем свежими и просто *сочиться* душком своей любимой фиалки».

9

Была ли она в самом деле красива, в двенадцать лет? Хотел ли он – захотел бы он когда-нибудь ласкать ее, ласкать по-настоящему? Ее черные волосы, ниспадавшие на ключицу, жест, каким она откидывала их, и ямочка на ее бледной щеке принадлежали тому порядку откровения, которым сопровождается мгновенное узнавание. Ее бледность сияла, ее чернота отливала блеском. Плиссированные юбочки, которые она предпочитала, были восхитительно коротки. Даже обнаженные части ее тела были настолько неподвластны загару, что взгляд, скользящий по ее белым голеним и предплечьям, различал ровную штриховку нежных темных волосков, шелковинки ее девичества. Темно-карие радужки ее серьезных глаз отличались загадочной матовостью, напоминавшей взгляд восточной гипнотизерши (с рекламной изнанки журнала), и, казалось, помещались чуть выше обычного, из-за чего, когда она глядела прямо на вас, между их нижним краем и влажным нижним веком качалась серповидная люлька белизны. Могло показаться, что ее длинные ресницы подкрашены тушью, да, впрочем, они действительно были подкрашены. Кабы не полные запекшиеся губы, черты ее лица отличались бы эльфийской красотой. Простой ирландский нос был копией Ванова, только в миниатюре, а зубы были замечательно белыми, но не очень ровными. Что до ее прелестных ладошек (нельзя было не сокрушаться, глядя на них), розовых по сравнению с прозрачной кожей рук, даже еще более розовых, чем локти, которым, казалось, было совестно за состояние ее ногтей: она обкусывала их так основательно, что все оставшееся нетронутым заменялось канавкой, врезавшейся в плоть с тугостью натянутой проволоки и удлинявшей голые кончики пальцев, приобретающих форму черпачков. Позднее, когда он так полюбил целовать ее холодные кисти, она сжимала пальцы, оставляя его губам лишь костяшки, и Ван яростно вскрывал ее кулачки, чтобы добраться до этих плоских, слепых, маленьких подушечек. (Но, ах, Боже мой, что за диво являли собой длинные, томные, серебристо-розовые, покрытые цветным лаком и заостренные, деликатно жалящие ониксы ее молодости и зрелых лет!)

В первые, странные дни, когда она показывала ему дом и все те укромные уголки, где они так скоро станут ласкать друг друга, Ван испытывал чувства, в которых смешивалось восхищение и раздражение. Восхищение белизной ее желанной и недоступной кожи, ее волосами, ногами, угловатыми движениями, ее газелево-луговым ароматом, внезапным темным взглядом ее широко посаженных глаз, деревенской наготой под платьем; раздражение – оттого что между ним, неуклюжим школьником с задатками гения, и этой развитой не по годам, возмнившей о себе, неприступной девочкой пролегла толща света и завеса тени, которые никакая сила не могла ни преодолеть, ни прервать. Он малодушно клял все и вся, лежа в своей безнадежной постели и настроив свое напряженное естество на тот промельк ее образа, который впитал во время второй экскурсии в верхние отделы дома, когда она, встав на капитанский сундук, чтобы открыть похожее на иллюминатор окно, через которое можно было выбраться на крышу (даже собаке это однажды удалось), зацепилась краем платья за выступавшую из стены скобу, и он увидел, как иной видит некое омерзительное чудо в библейской притче или в отталкивающей метаморфозе мотылька, – темный шелковый пушок у этого ребенка. Он заметил, что она, кажется, заметила, что он заметил или мог заметить (то, что он не только увидел, но с нежным ужасом хранил в памяти до тех пор, пока не избавился от этого наваждения – много позже и довольно необычным образом), и тогда странное, сонное, высокомерное выражение мелькнуло

у нее на лице: ее втянутые щеки и пухлые бледные губы шевельнулись, будто она что-то жевала, и она зашлась безрадостным лающим смехом, когда он, большой Ван, поскользнулся на черепице, выбравшись за ней на крышу через световой люк. И при внезапно выглянувшем солнце он осознал, что до сих пор он, маленький Ван, оставался слепым девственником, поскольку спешка, пыль и сумрак скрыли от него мышинные прелести его первой шлюшки, которой он так часто обладал.

Отныне воспитание его чувств и чувственности шло полным ходом. На другой день утром он случайно подглядел, как она оmyвает лицо и руки над старинным умывальником, стоящим на рококошной подставке: ее волосы были завязаны узлом на затылке, ночная рубашка спущена и закручена вокруг талии, будто несуразный венчик, из которого вырастала ее узкая спина с рядом проступавших ребер на обращенной к нему стороне. Толстый фарфоровый змий обвивался вокруг раковины, и когда оба, рептилия и он, замерли, уставясь на Еву и мягкое покачиванье ее едва оформившихся грудок, видимых сбоку, большой кусок багрово-красного мыла выскользнул у нее из пальцев и ее нога в черном носочке одним ударом захлопнула дверь со стуком, прозвучавшим скорее отзвуком упавшего на мраморную столешницу мыла, чем знаком ее девичьей стыдливости.

10

Будничный обед в Ардис-Холле. Люсетта – между Мариной и своей гувернанткой, Ван – между Мариной и Адой, Дак, золотисто-бурый горноста́й, где-то под столом, то ли между Адой и м-ль Ларивьер, то ли между Люсеттой и Мариной (Ван втайне не терпел собак, особенно за едой и особенно этого небольшого вытянутого уродца, из пасти которого несло падалью). Лукавая и высокопарная, Ада излагает свой сон, или описывает какое-нибудь природное диво, или объясняет особый беллетристический прием – «*monologue intérieur*» Поля Бурже, позаимствованный у старика Льва, – или же смакует пряную глупость в свежей колонке Эльси де Норд, пошлой дамы литературного полусвета, полагающей, будто Лёвин разгуливал по Москве в *нагольномъ тулупъ*, «*мужицком полушубке, кожей наружу, мехом внутрь*», – согласно словарю, который наша умница извлекает откуда-то с ловкостью фокусника, даже не снившейся таким, как Эльси. Ее свободное обращение с придаточными предложениями, ее замечания «в сторону», темпераментное акцентирование идущих подряд односложных слов («*Ну и дичь, дура Эльси просто не умеет читать!*»), – все это каким-то образом распяляло Вана, как искусственные возбудители и болезненные экзотические ласки, со стимулирующим зловещим уклоном, который его одновременно возмущал и болезненно улаждал.

«Ангел мой», обращалась к ней ее мать, то и дело вставляя: «Умру от смеха!», «О, я это обожаю!», прибавляя при сем другим, наставительным тоном: «Не сутулься» или «Ешь, ангел мой» (напирая на это «ешь» с материнской заботливостью, не вязавшейся с безжалостными спондеическими сарказмами дочери).

Ада, сидевшая теперь прямо, выгнула свою подвижную спину, затем, когда сон или приключение (или что там она пересказывает) достигли кульминации, склонилась над столом, с которого Прайс уже предусмотрительно убрал ее тарелку, и вдруг навалилась на него расставленными локтями, занимая все пространство, после чего откинулась назад, сложно гримасничая, изображая «такое длинное-предлинное», поднимая обе руки выше и выше!

«Ангел мой, ты же еще не попробовала – ах, Прайс, принесите —»

Что именно? Веревку, по которой голозодое чадо факира начнет карабкаться вверх, в тающую синеву?

«Это было что-то длинное-предлинное. Вроде (осекается)... шупальца... нет, дайте подумать» (встряхивает головой и морщит лоб, и вдруг все черты ее разглаживаются, будто спутанный клубок пряжи распускается одним быстрым рывком).

Нет: огромные багряно-розовые сливы, на одной из которых лопнула кожица, обнажая сочную желтизну.

«И тогда я —» (волосы взъерошены, одна рука вскинута к виску, намечая, но не заканчивая оправляющий взмах, после чего взрыв хрипловатого смеха переходит во влажный кашель).

«Нет, серьезно, мама, попробуй представить меня совершенно онемевшей, *кричащей* беззвучно, когда я поняла —»

После трех или четырех таких обедов Ван тоже кое-что понял. Поведение Ады вовсе не было рисовкой умной девочки перед новым человеком, то был отчаянный и довольно остроумный способ завладеть беседой, чтобы помешать Марине превратить ее в лекцию о театре. Марина же, дожидаясь подходящего момента, чтобы пустить вскачь тройку своих заезженных коньков, испытывала некоторое профессиональное удовольствие, играя избитую роль заботливой мамыши, гордящейся очарованием и юмором дочери, и сама снисходительность Марины к нахальной велеречивости Ады должна была ненавязчиво раскрыть ее собственные очарование и остроумие: это *она* рисовалась, не Ада! И тогда, сообразив что к чему, Ван начал пользоваться паузами (которые Марина стремилась заполнить какой-нибудь отборной станиславщиной), чтобы направить Аду в бурные воды Ботани-Бей – ссылка, которой Ван при иных обстоятельствах страшился, но которая за семейным столом служила самым легким и безопасным выходом для его девочки. Эта уловка была особенно кстати за ужином, поскольку Люсетта с гувернанткой трапезничали раньше и у себя в комнате, а значит, в эти критические минуты нельзя было рассчитывать на то, что м-ль Ларивьер вовремя встрянет, пока Ада переводит дух, с подробным отчетом о своей работе над новым рассказом (ее знаменитое «Бриллиантовое ожерелье» находилось в последней стадии гранения) или реминисценциями о раннем детстве Вана, относящимся к таким желанным эпизодам, как те, которые касались его любимого русского наставника, галантно ухаживавшего за м-ль Л., писавшего по-русски «декадентские» стихи пружинным ритмом и по-русски же одиноко пившего горькую.

Ван: «Этот желтенький, как бишь его (указывает на цветок, с очаровательной точностью изображенный на эккеркроуновской тарелке), – это, кажется, лютик?»

Ада: «Нет. Этот желтый цветок – обычная калужница болотная, *Caltha palustris*, по-английски *marsh marigold*. Здешние крестьяне ошибочно зовут ее первоцветом, хотя, разумеется, настоящий первоцвет, *Primula veris*, это совсем другое растение».

«Вот как», сказал Ван.

«А кстати, – начала Марина, – когда я играла Офелию, то обстоятельство, что я когда-то собирала цветы —»

«Очень помогло, бесспорно, – сказала Ада. – Так вот, по-русски этот цветок называется курослепом (как татарские мужики, несчастные рабы, неверно кличут лютик) или калужницей, как его вполне точно именуют в Калуге, С. Ш. А.»

«Ага», сказал Ван.

«Как и в случае со многими другими цветами, – продолжила Ада с тихой улыбкой помещанного ученого, – незадачливое французское название нашего растения, *sousi d'eau*, было переврано или, лучше сказать, преобразено —»

«Цветочки в порточки», – сострил Ван Вин.

«*Je vous en prie, mes enfants!*» – вмешалась Марина, с трудом следившая за разговором и решившая, вдвойне сбита с толку, что намек относится к нижнему белью.

«Между прочим, сегодня утром, – сказала Ада, не снисходя до ответа матери, – наша образованная гувернантка, бывшая также и твоей, Ван, и которая —»

(Впервые она произнесла его имя – на том уроке ботаники!)

«— довольно сурово относится к англофонным скрещивателям разных пород – назвать обезьян „*ursine howlers*“, медвежьими ревунами! – хотя, боюсь, мотивы у нее скорее шовинистские, чем эстетические и этические – обратила мое внимание – мое рассеянное внимание –

на некоторые действительно поразительные цветочки, как ты назвал их, Ван, если не ягодки, в *soi-disant* дословной версии господина Фаули – „берущей за душу“, как сказала о ней в своем недавнем восторженном извержении Эльси – „берущей за душу“, подумать только! – стихотворения Рембо „*Mémoire*“ (которое она, к счастью и весьма дальновидно, заставила меня выучить наизусть, хотя, подозреваю, что сама Мадемуазель предпочитает Мюссе и Коппе) —».

«...*les robes vertes et déteintes des fillettes*...», торжествуя процитировал Ван.

«Да-с (передразнивая Дана). Правда, мадемуазель Ларивьер позволяет мне читать его только в антологии Фельетена, которая у тебя тоже, вероятно, имеется, но очень скоро, о да, я заполучу его *oeuvres complètes*, гораздо скорее, чем вы думаете. Она, к слову, вот-вот сойдет вниз, когда уложит Люсетту, нашу милую медноголовку, которая, должно быть, уже натянула свою зеленую ночную рубашку —»

«Ангел мой, – взмолилась Марина, – я убеждена, что Вану нет дела до Люсеттиных рубашек!»

«– ивового оттенка и считает овечек на своем *ciel de lit*, что Фаули переводит как „небесная постель“, вместо „балдахин“. Но вернемся к нашему бедному цветку. Фальшивый *louis d'or* в этой коллекции изгаженных французских слов – это преобразование *souci d'eau* (нашей калужницы) в ослиную „заботу воды“ („*care of the water*“), и это при том, что в его распоряжении была уйма синонимов к *marsh marigold* – *mollyblob*, *marybud*, *maybubble* и много других названий, связанных с празднествами плодородия, чем бы они ни были».

«С другой стороны, – сказал Ван, – легко представить себе, как столь же хорошо владеющая двумя языками мисс Риверс проверяет французский перевод, скажем, марвелловского „Сада“ —»

«Ах, – воскликнула Ада, – я могу прочесть собственную трансверсию „*Le jardin*“, как там —

En vain on s'amuse à gagner
L'Oka, la Baie du Palmier...»

«...to win the Palm, the Oke, or Bayes!» [чтобы завоевать пальмовый, дубовый или лавровый венок], выкрикнул Ван.

«Знаете, дети, – прервала их Марина решительно, опуская обе руки вниз усмиряющим жестом, – когда мне было столько же лет, сколько тебе, Ада, а моему брату было столько же, сколько тебе, Ван, мы говорили о крокете, о пони, о щенках, и о последнем *fête-d'enfants*, и о следующем пикнике, и – ах, да о множестве милых нормальных вещей, – и никогда, никогда о старых французских ботаниках и еще Бог знает о чем!»

«Но ты сказала, что собирала цветы?» – возразила Ада.

«Всего только один сезон, где-то в Швейцарии, не помню когда. Теперь это не имеет никакого значения».

Брат – Иван Дурманов: он умер от рака легких много лет тому назад в санатории (недалеко от Экса, где-то в Швейцарии, где восемь лет спустя родился Ван). Марина часто вспоминала Ивана, ставшего знаменитым скрипачом уже в восемнадцать лет, но вспоминала обычно без волнения, так что Ада была удивлена, заметив, что густоватый косметический грим матери начал таять из-за внезапного ручейка слез (быть может, аллергическая реакция на старые плоские сухие цветы, припадок сенной лихорадки, или горечь горечавки, как мог бы ретроспективно показать более поздний диагноз). Она громко высморкалась, «как слон», по ее собственному выражению, и в ту же минуту появилась м-ль Ларивьер, чтобы выпить чашку кофе и поделиться своими воспоминаниями о Ване, когда он был *bambin angélique*, обожавший *à neuf ans* – такой милый! – Жильберту Сван *et la Lesbie de Catulle* (и который уже тогда научился,

совершенно самостоятельно, избывать свое обожание, как только керосиновая лампа в кулаке его чернокожей няньки уплывала из подвижной спальни).

11

Через несколько дней после приезда Вана из города утренняя поездка прибыл дядя Дан, чтобы, как обычно, провести уик-энд с семьей. Ван столкнулся с ним, когда он пересекал холл. Дворецкий очень мило (как подумалось Вану) указал своему хозяину, кто именно этот рослый мальчик, – опустил руку на три фута от земли и затем ступеньками стал поднимать ее все выше и выше – альтиметрия, смысл которой лишь один наш шестифутовый юноша и понял. Маленький рыжеволосый джентльмен бросил недоуменный взгляд на старого дворецкого, который поспешил прошептать имя Вана.

У г-на Данилы Вина была занятная привычка, подходя к гостю, прятать пальцы своей напряженной правой руки в карман сюртука и держать их там для своего рода очистительной процедуры, пока не наступит точный момент рукопожатия.

Он сообщил Вану, что с минуты на минуту пойдет дождь, «поскольку он уже идет в Ладоре», а дождю, сказал он, «требуется около получаса, чтобы достигнуть Ардиса». Ван принял это известие за шутку и вежливо хмыкнул, отчего дядя Дан вновь недоумевающе посмотрел на него своими светлыми рыбьими глазами и задал ему несколько вопросов: знаком ли он с окрестностями, сколькими языками он владеет и не желает ли он участвовать в розыгрыше, купив у него за несколько копеек лотерейный билет Красного Креста?

«Нет, благодарю, – сказал Ван, – у меня и своих розыгрышей хоть отбавляй», и дядя вновь взглянул на него, но на этот раз несколько косо.

Чай подали в гостиной, и все были почему-то молчаливы и задумчивы, но вот дядя Дан встал, вынимая из внутреннего кармана сложенную газету, и едва он покинул комнату, направляясь в свой кабинет, как само собой распахнулось окно и проливной дождь застучал в саду по листьям лириодендронов и рябчиков императорских, и все сразу громко и живо заговорили.

Дождь шел или, скорее, стоял, недолго – он продолжил свой предполагаемый путь в Радугу, или Ладору, или Калугу, или Лугу, оставив после себя над Ардис-Холлом недоконченную яркую арку.

Дядя Дан сидел в глубоком покойном кресле, стараясь вникнуть с помощью одного из тех крошечных словарей для неприятных туристов, которые служили ему для расшифровки иностранных каталогов живописи, в содержание статьи, посвященной, предположительно, «устричной» технике декорирования (он читал иллюстрированную голландскую газету, подобранную им с соседнего места в поезде), – когда вдруг неопикуемый гвалт поднялся в доме, охватывая одну комнату за другой.

Резвый дакель, с одним плещущим и другим вывернутым ухом, так что была видна его розовая внутренность, усеянная серыми крапинами, быстро перебирая комичными лапами и оскальзываясь на паркете при резких поворотах, уносил прочь, в подходящее укрытие, дабы растерзать там, большой ком напитанной кровью ваты, который он стащил где-то наверху. Ада, Марина и две горничные гнались за веселым зверем, тщетно стараясь загнать его в угол среди всей этой барочной мебели, пока он удирал от них через бесчисленные двери. Погоня резко сменила направление и пронеслась мимо кресла дяди Дана.

«Мать честная! – воскликнул он, увидев окровавленный трофей. – Не иначе кто-то оттапал себе палец!» Похлопав себя по ляжкам и пошарив в складках кресла, он отыскал – под скамейкой для ног – свой карманный словарь и вернулся к газете, но тут же вынужден был выяснить значение слова «groote», которое как раз начал искать, когда его отвлекли.

Простота искомого значения огорчила его.

Тем временем неугомонный Дак, выскочив наружу в проем стеклянной двери, увлек своих преследователей в сад. Там, на третьей лужайке, Ада настигла его «стелющимся» прыжком, какой применяется в «американском футболе», разновидности регби, состязания, которому в былое время кадеты предавались на покрытых дерном сырых берегах реки Гудсон. В ту же минуту м-ль Ларивьер поднялась со скамьи, на которой сидела, подстригая Люсетте ногти, и, указывая ножницами на Бланш, подбегавшую с бумажным пакетом, обвинила молодую неряху в вопиющем проступке, а именно в том, что та как-то обронила шпильку для волос в кровать Люсетты, *un machin long comme ça qui faillit blesser l'enfant à la fesse*. Однако Марина, как все русские дворянки, смертельно боявшаяся «обидеть всякого ниже себя», объявила, что инцидент исчерпан.

«Нехорошая, нехорошая собака», приговаривала Ада, задыхаясь и с присвистом переводя дух, беря на руки лишившуюся добычи, но ничуть не удрученную таксу.

12

Гамак и мед: даже спустя восемьдесят лет он все еще мог вспомнить с юношеской мукой изначальной радости, как влюбился в Аду. Память сходится с воображением на середине пути в гамаке его отроческих зорь. Девяносточетырехлетним старцем ему нравилось восстанавливать во всех подробностях то первое любовное лето – не как только что виденный сон, а как краткое содержание самого сознания, которое поддерживало его в серые предутренние часы, в промежутке между неглубоким сном и первой пилюлей нового дня. Дорогая, замени меня ненадолго. Пилюля, пилон, балкон, биллион. С этого места, Ада, пожалуйста!

(Она:) Биллионы юношей. Возьмем одну довольно приличную декаду. В продолжение оной биллионы Биллей – такие милые, талантливые, нежные и пылкие, не только духовно, но и физически благонамеренные Биллионы – раздели джиллионы своих не менее нежных и восхитительных Джилль, находясь в тех состояниях и в таких условиях, которые следует определить и проверить служащему, дабы весь отчет не зарос сорной травой статистических данных и доходящих до пояса обобщений. В нем не было бы никакого смысла, если бы мы упустили, к примеру, маленький вопрос невиданного индивидуального самосознания и юношеской гениальности, которые способны в некоторых случаях превратить тот или иной определенный момент в *непредсказуемое и неповторимое событие* в череде связанных между собой явлений жизни, или, по крайней мере, тематические антемионы этих событий – в произведение искусства или в разгромную статью. Просвечивающие или затеняющие детали: лист местной флоры сквозь гиалиновую кожу, зеленое солнце во влажном карем глазу, *tout ceci, всё это*, по отдельности и вместе, должно быть принято в расчет – теперь приготовься продолжить (нет, Ада, продолжай ты, я заслушался), – если мы хотим пролить свет на тот факт... факт... факт, что среди этих биллионов блестящих пар в одном поперечном срезе того, что ты позволишь назвать мне (ради удобства рассуждения) пространством-временем, есть одна уникальная пара, *сверхъ-императорская чета*, вследствие чего (что еще будет изучено, изображено, разоблачено, положено на музыку или на дыбу и предано смерти, если декада все-таки имеет свой скорпионий хвост) особенности ее любовных отношений исключительным образом осеняют две долгие жизни и нескольких читателей, этих мыслящих камышей, с их писчими перьями и ментальными кисточками. Естественная история – где уж! *Противоестественная* история – потому что такая точность чувств и ума должна показаться деревенщине отталкивающе эксцентричной и потому что детали – это все: песнь тосканского красноголового королька или рубиновоголовый корольек на ветке кладбищенского кипариса; мятный дух садового чабера или Yerba Buena на прибрежном склоне; напоминающее танец порханье голубянки весенней или голубянки-эхо (Echo Azure) – в сочетании с другими птицами, цветами и бабочками: вот что должно быть услышано, учуяно, увидено сквозь прозрачность смерти и сияющей красоты.

И самое трудное – восприятие красоты сквозь призму настоящего. Самцы светляков (далее ты, Ван, без возражений).

Самцы светляков, крошечных иллиминирующих жуков, скорее напоминающих блуждающие звезды, чем крылатых насекомых, появились в Ардисе в первые теплые и черные ночи, один за другим, там и тут, а потом – призрачным множеством, редевшим вновь до нескольких точек, когда их странствия подходили к своему природному концу. Ван наблюдал за ними с тем же приятным трепетом, какой испытал ребенком, когда однажды, заблудившись на кипарисовой аллее в лиловых сумерках итальянского отельного сада, решил, что это, должно быть, золотистые духи или мимолетные химеры сада. Теперь, когда они плавно и, по-видимому, прямо летели к своей цели, пересекая в разных направлениях окружающую Вана тьму, каждый светляк с промежутком приблизительно в пять секунд зажигал свой бледно-лимонный огонек, подавая сигнал индивидуальным ритмом (совершенно отличным от ритмов родственного вида, летающего с *Photinus ladorensis*, по словам Ады, в Лугано и Луге) своей обитающей в траве самке, которая, проверив верность используемого кода, два-три мгновения спустя отвечала ему собственной световой пульсацией. Присутствие этих дивных маленьких существ, нежно освещавших душистую ночь, наполняло Вана тихим ликованием, редко пробуждаемым энтомологическими экскурсами Ады – быть может, вследствие абстрактной зависти ученого, которую порой вызывает непосредственное знание натуралиста. Гамак, это удобное продолговатое гнездо, оставлявшее на голом теле ромбовидный узор, он подвешивал или под атласским кедром, раскинувшимся на краю лужайки и частично укрывавшим Вана от проливного дождя, или – в безопасные ночи – между двух тюльпанных деревьев (где прежний летний гость, в оперном плаще поверх влажной ночной сорочки, был однажды разбужен хлопучкой, лопнувшей окрест среди инструментов в возке, и, чиркнув спичкой, дядя Ван увидел пятна яркой крови на своей подушке).

Окна черного замка гасли по вертикали, по горизонтали и траекториями шахматного коня. Дольше всех оставалась в верхней уборной м-ль Ларивьер, приходившая туда с лампадой на розовом масле и своим бюваром. Ветерок трепал занавески его комнаты, теперь беспредельной. В темном небе взошла Венера; Венера завладела его плотью.

Так было незадолго до сезонного нашествия занятно-примитивных москитов (чья ядовитость приписывалась не слишком доброжелательным русским населением наших мест рациону ладорских виноградарей-французов и клюквоядов); но даже при этом чарующие светлячки и еще более сверхъестественный бледный космос, проступавший сквозь темную листву, уравнивали новыми неудобствами ночные тяготы, неизбывные выделения пота и спермы, порождаемые его душной комнатой. Ночь, бесспорно, *всегда* оставалась тяжким испытанием на протяжении всей его, уже почти вековой, жизни, не важно, насколько сонным или одурманенным снотворным мог быть бедняга, – поскольку гениальность вовсе не пряник, ни в случае Биллионера Билля с его острой бородкой и стилизованным лысым куполом, ни в случае мрачного Пруста, любившего обезглавливать крыс, когда ему не спалось, ни в случае *этого* блестящего или темнящего В. В. (в зависимости от точки зрения читателей, тоже бедолаг, несмотря на наши потуги и их заслуги); но в Ардисе бурная жизнь кишаших звездами небес так осложняла его мальчишеские ночи, что он бывал рад и благодарен, когда скверная погода или гнусный кровосос, *Камаргский комаръ* наших *мужиковъ* и *Moustique moscovite* их столь же полнозвучных оппонентов, гнали его обратно в ухабистую постель.

Настоящий бесстрастный отчет о ранней, слишком ранней любви Вана Вина к Аде Вин не оставляет нам ни места, ни повода для метафизических отступлений. И все же стоит заметить (пока летают и пульсируют люциферы и в соседнем парке, тоже очень ритмично, ухает сова), что Ван, который в ту пору еще не изведал в должной мере Терзаний Терры – смутно относя их (когда анализировал мучения своей дорогой незабвенной Аквы) к пагубным маниям и народным суевериям, – даже тогда, в четырнадцать лет, сознавал, что в древних мифах, запустив-

ших в податливую реальность круговерть миров (какими бы нелепыми и таинственными они ни были) и поместивших их среди серой материи усеянных звездами небес, содержится, быть может, светлячок странной истины. Его ночевки в гамаке (где другой бедный юноша, кляня свой кровавый кашель, вновь проваливался в сны о черных, рыскающих кругами *кругуарах* и кимвальном ударе символов в орхидном оркестре, как подсказывали ему дипломированные доктора) были теперь отягощены не столько его мучительным влечением к Аде, сколько этим бессмысленным пространством над ним, под ним, всюду, этим дьявольским подобием божественного времени, звучащего вокруг него и сквозь него тем звоном, которому предстояло повториться – к счастью, несколько более осмысленно – в последние ночи его жизни, о которых я, любовь моя, нисколько не жалею.

Он засыпал в тот момент, когда ему казалось, что он уже никогда не заснет, и видел свои юношеские сны.

Лишь только первые лучи дня коснулись его гамака, он проснулся другим человеком – и в гораздо большей степени мужчиной. «Ada, our ardors and arbors» [Ада, наши сады и улады] – пел в его голове дактилический триметр, которому предстояло остаться единственным вкладом Вана Вина в англо-американскую поэзию. Слава скворцу и к чорту звездную пыльцу! Ему четырнадцать с половиной, он пылок и смел, и однажды неистово овладеет ею!

Одно из таких полных сил утр он сумел восстановить в мельчайших деталях, проигрывая в памяти свое прошлое. Натянув купальные трусики, не без труда упрятав в них всю сложную и неподатливую составную массу срамных частей, он опрокинулся из своего гнезда на землю и первым делом проверил, пробудилась ли уже Адина половина дома. Пробудилась. Он увидел блеск хрусталя, солнечный блик. Она вкушала *sa petite collation du matin* – в одиночестве, на собственном балконе. Ван отыскал сандалии, с жуком в одном и лепестком в другом, и, пройдя через садовую кладовую, вошел в прохладный дом.

Дети ее склада изобретают чистейшие из возможных философий. Ада развила свою собственную скромную систему. Прошло меньше недели со дня приезда Вана, когда она решила, что он достоин быть посвященным в основы ее премудрости. Жизнь всякого человека состоит из следующих определенных сущностей: редкостных и бесценных «истинных сущностей», просто «сущностей», образующих повседневное содержание жизни, и «призрачных сущностей», иначе называемых «мглой», таких как огневица, зубная боль, ужасные разочарования и смерть. Три и более сущности, возникающие одновременно, образуют «башню», а если они следуют друг за другом – то «мост». «Истинные башни» и «истинные мосты» относятся к радостям жизни, когда же башни выстраиваются в ряд, можно испытать невиданный восторг; впрочем, так случается очень редко. В некоторых обстоятельствах и при определенном свете нейтральная «сущность» может показаться и даже способна сделаться «истинной», или же, наоборот, она может стуситься в душную «мглу». Если радостное и грустное смешиваются, одновременно или на наклонной плоскости длительности, человек сталкивается с «разрушенными башнями» и «рухнувшими мостами».

Живописные и архитектурные детали этой метафизики скрашивали ее ночи, которые были намного приятнее Вановых, и потому в то утро – как и в большинство утр – ему мнилось, будто он воротился из гораздо более далекой и суровой страны, чем она и ее солнечный луч.

Ее полные, липко-блестящие губы улыбались.

(Когда я целую тебя сюда, – сказал он ей как-то многие годы спустя, – я всегда вспоминаю то синее утро на балконе, когда ты ела *tartine au meil*, – по-французски звучит намного лучше.)

Классическая красота клеверного меда, однородного, светлого, полупрозрачного, свободно стекающего с ложечки и жидкой латунией затопляющего хлеб и масло моей душеньки. Хлебная крошка тонет в нектаре.

«Истинная сущность?» – спросил он.

«Башня», ответила она.

И еще оса.

Оса исследовала ее тарелку. Ее тельце подрагивало.

«Позже нам стоит попробовать съесть одну, – заметила Ада. – Но она должна быть *объеваемой*, чтобы быть вкусной. В язык она, само собой, ужалить не может. Ни одно животное на земле не смеет тронуть человеческий язык. Когда лев доедает путешественника с костями и всем прочим, он всегда оставляет его язык лежать в пустыне» (следует пренебрежительный жест).

«Неужели?»

«Широко известная загадка природы».

Ее волосы, в тот день тщательно расчесанные, отливали черным блеском, подчеркивая матовую бледность ее шеи и рук. На ней была полосатая тенниска, которую в своих одиноких фантазиях Ван особенно любил стягивать с ее изгибающегося тела. Клеенка была поделена на синие и белые клетки. Медовый мазок запятнал остатки масла в охлажденном горшочке.

«Ладно. А третья Истинная Сущность?»

Она глядела на него. Горящая капелька в углу ее губ глядела на него. Трехцветная бархатистая фиалка, которую она накануне писала акварелью, тоже глядела на него из своего волнистого хрусталя. Она ничего не сказала. Продолжая смотреть на него, она облизала свои расставленные пальцы.

Ван, так и не дождавшись ответа, покинул балкон. Ее башня мягко рассыпалась в лучах благодатного безмолвного солнца.

13

На большой пикник по случаю двенадцатилетия Ады и сорок второго *jour de fête* Иды девочке разрешили надеть ее «лолиту» (от имени андалузской цыганочки из романа Осберха, произносить которое, между прочим, следует с испанским, а не с глухим английским «t»), – довольно длинную, но очень воздушную и широкую черную юбку с красными маками или пионами, «которых в ботанической реальности не существует», как она высокопарно выразилась, еще не ведая, что реальность и естествознание являются синонимами в понятиях этого и только этого сновидения.

(Как не ведал того и ты, мудрый Ван. Ее приписка.)

Она ступила в юбку, обнаженная, с ногами, еще влажными и «шершавыми» после особого растирания грубой махровой мочалой (утренние ванны под властью м-ль Ларивьер не применялись), и натянула ее, проворно крутя бедрами, чем вызвала дежурный нагоняй своей гувернантки: *mais ne te trémousse pas comme ça quand tu mets ta jupe! Une petite fille de bonne maison*, и т. д. Отсутствие панталончиков, *per contra*, несколько не смутило Иду Ларивьер, грудастую женщину выдающейся, но отталкивающей красоты (стоявшую в одном корсете и чулках с подвязками), которая и сама была не прочь сделать кое-какие тайные уступки летнему зною; однако в случае нежной Ады такая привычка имела вредные последствия. Девочка попыталась унять раздражение и сопутствующие ему не столь уж неприятные ощущения клейкости и зуда в мягком своде, крепко оседлав прохладную ветвь шаттэльской яблони, – к большому отвращению Вана, как мы еще не раз увидим.

К «лолите» она надела белое джерси с короткими рукавчиками и черными полосками, мягкую широкополую шляпу со шнурком, чтобы ее можно было носить за спиной, подвязала волосы бархатной лентой и натянула пару старых сандалий. Ни чистоплотность, ни изысканный вкус, как Ван находил то и дело, не отличали домашних Ардиса.

Когда все были готовы ехать, Ада живо, как удад, спрыгнула со своего дерева. Спешу, спешу, моя птица, ангел мой. Бен Райт, кучер-англичанин, был все еще трезв как стеклышко (выпив за завтраком только кружку пива), а Бланш, которая по крайней мере однажды уже

побывала на большом пикнике (ей в тот раз пришлось сломя голову мчаться в Сосновую балку, чтобы расшнуровать упавшую в обморок Мадемуазель), сейчас была занята менее светским делом – уносила рвущегося и рычащего Дака в свою комнатку в башне.

Шарабан уже доставил к месту пикника двух лакеев, три кресла и несколько корзин с провизией. Романистка в белом сатиновом платье (сшитом в манхэттенском ателье легендарной Васс для Марины, похудевшей с тех пор на десять фунтов), с Адой подле себя и Люсеттой, *très en beauté* в белой матроске, примостившейся рядом с насупленным Райтом, поехала в виктории. Ван катил следом на одном из велосипедов своего дяди или двоюродного деда. Лесная дорога оставалась довольно ровной, если держаться ее середины (все еще липкой и темной после рассветного дождя), между двумя небесно-голубыми колеями, испещренными отраженьями тех же березовых листьев, чьи тени проплывали по тугому жемчужному шелку открытого парасоля м-ль Ларивьер и по широким полям лихо заломленной белой шляпы Ады. Люсетта изредка оборачивалась назад со своего места рядом с одетым в синий кафтан Беном и раскрытой ладошкой подавала Вану маленькие сигналы, чтобы он сбавил скорость – как это делала ее мать, когда боялась, что Ада на своем пони или велосипеде врежется в кузов экипажа.

Марину доставил двухместный красный автомобиль раннего «прогулочного» типа, которым дворецкий управлял с такой осмотрительностью, как будто имел дело с причудливо устроенным штопором. Она выглядела на редкость элегантно в сером мужском фланелевом костюме и сидела, положив руку в перчатке на набалдашник рябой трости, дожидаясь, пока автомобиль, слегка покачиваясь, подъедет к самому краю живописной пикниковой опушки, окруженной вековым сосновым бором, изрезанным дивными оврагами. Странная светлокрылая бабочка пролетела с другой стороны леса вдоль луганской грунтовой дороги, и тут же за ней подъехало ландо, из которого один за другим, живо или медленно, в зависимости от возраста и состояния, сошли близнецы Эрминины, их молодая брюхатая тетка (сильно обременяющая повествование) и гувернантка, седовласая мадам Форестье, подруга школьных лет Матильды из будущего рассказа. Кроме того, ожидалось, но так и не появились трое джентльменов: дядя Дан, опоздавший на утренний поезд из города, полковник Эрминин, вдовец, чья печень, как он выразился в записке, повела себя как *печеньгъ*, и его врач (а также партнер по шахматам), прославленный д-р Кролик, который звал себя придворным ювелиром Ады и который действительно преподнес ей на другой день поутру три искусно вырезанные куколочки («Бесценные геммы!» – грудным голосом воскликнула Ада, наморщив брови), каждой из которых в скором времени предстояло явить на свет экземпляры удручающих ихневмоноидных наездников вместо нимфалиды Кибо – недавно обнаруженной редкости.

Стопки мягких, лишенных поджаренной корочки сэндвичей (правильной прямоугольной формы размером два дюйма на пять), рыжеватый труп индейки, черный русский хлеб, белужья икра в горшочках, засахаренные фиалки, малиновые тартинки, полгаллона белого гудсонского портвейна и столько же красного, разбавленный водою кларет в термосах для девочек и сладкий холодный чай счастливого детства – все это легче вообразить, чем изобразить. Кое-кто мог бы счесть весьма показательным <так в рукописи. *Ред.*>

Кое-кто мог бы счесть весьма показательным соседство Ады Вин с Грейс Эрминой: Адина молочная белизна и пышущий здоровьем румянец ее ровесницы; прямые черные волосы девочки-колдуньи и короткие русые волосы; матовые и серьезные глаза моей прелести и синее мерцание за роговыми очками у Грейс; голая ляжка первой и длинные красные чулки второй; цыганская юбка и матросский костюм. И, возможно, еще занятнее было бы отметить, как простецкие черты Грега практически в неизменном виде воспроизводились в наружности его сестры, приобретая некоторое подобие девичьей «миловидности» без утраты разительного сходства между юнгой и девицей.

Слуги живо унесли останки индейки, портвейн, к которому никто, кроме гувернанток, не притронулся, и разбитое севрское блюдо. Из-за куста выглянула кошка, в изумлении оглядела преобразившуюся поляну и, несмотря на хоровое «кис-кис», исчезла.

После этого происшествия м-ль Ларивьер попросила Аду сопровождать ее в уединенное местечко. Найдя таковое, она, во всем своем облачении, в широком своем платье, сохранившем каждую свою царственную складку, но ставшем как будто на дюйм длиннее, так что исчезли под ним ее прюнелевые туфли, стояла неподвижно над скрытой струей и мгновенье спустя вновь вернулась к своей нормальной высоте. На обратном пути благонамеренная педагогиня сообщила Аде, что двенадцатый день рождения для всякой девочки – это подходящий повод, чтобы объяснить ей кое-что и тем самым предупредить то, что может теперь в любое время превратить ее в *grande fille*. Ада, которую еще полгода тому назад школьная учительница все-сторонне просветила по части этого явления и которая уже, собственно, дважды испытала его, огорошила свою бедную гувернантку (которой никак не удавалось поладить с ее острым и своеобразным умом), заявив, что все это враки и ахинея монахинь; что в наши дни такого рода вещи едва ли случаются с нормальными девочками и уж, конечно, с ней, с Адой, произойти никак не могут. М-ль Ларивьер, которая была первостатейной душой, несмотря на свою склонность к литературному сочинительству или, быть может, благодаря этому, мысленно обозрела в ретроспективном порядке свой собственный опыт и в течение нескольких ужасных мгновений спрашивала себя, мог бы научный прогресс столь радикально переменить человеческую природу, пока она отдавала себя искусству?

Послеполуденное солнце отыскало и осветило новые места, на старых же стало сильно припекать. Тетя Руфь задремала, положив голову на обычную постельную подушку, прихваченную с собой мадам Форестье, которая вязала крошечную фуфайку для будущего полукровного брата или сестры своих подопечных. А Марине думалось о том, что госпожа Эрминина из персидской сини своей блаженной обители и сквозь неотвязную пелену, оставленную самоубийством, глядит сейчас со старческой печалью и младенческим любопытством на пирующих под пышной сосновой кроной. Дети проявили свои таланты: Ада и Грейс отплясывали барыню под аккомпанемент старинной музыкальной шкатулки, поминутно запинаящейся посреди такта, как если бы она вспоминала другие берега, другие, радиальные, волны; Люсетта, уперев кулачок в бок, спела рыбацкую песнь Сен-Мало; Грег, натянув синюю юбку своей сестры, ее очки и шляпу, превратился в сильно хворающую, умственно отсталую Грейс; Ван же ходил на руках.

За два года до этого, перед началом своего первого тюремного срока в фешенебельной и отвратительной школе-интернате, где до него учились и другие Вины (еще в те времена, «когда вашингтонцы были веллингтонцами»), Ван решил овладеть каким-нибудь поразительным приемом, дающим мгновенное и блистательное превосходство над остальными. После обсуждения этого вопроса с Демоном Кинг Винг, наставник последнего по рукопашному бою, научил крепкого юношу ходить на руках посредством особой игры плечевых мускулов – трюк, для освоения и совершенствования которого требовалось не что иное, как смещение кариатики.

Что за удовольствие <так в рукописи>. Удовольствие от внезапного открытия верного способа передвигаться вверх тормашками сродни ярким ощущениям, какие испытываешь, когда, после множества чувствительных и унижительных падений, научаешься, наконец, управлять теми дивными летунами, называвшимися «фееропланами» (или «ковролетами»), которые в отважные времена перед Великой Реакцией было принято дарить мальчикам на двенадцатилетие. Сердце замирает в минуты долгого, пробегающего от макушки до пят наслаждения, когда впервые отрываешься от земли и пролетаешь через стог сена, дерево, ручей, амбар, а под тобой, внизу, задрав голову, бежит Дедал Вин, твой дед, машет флажком и падает в конский пруд.

Ван стянул спортивную рубашку, снял туфли и носки. Стройность тела этого красивого юноши, отвечавшего тоном, если не текстурой, песочного цвета шортам, контрастировала с необыкновенно развитыми дельтовидными мышцами и сильными предплечьями. Пройдет всего четыре года, и Ван сможет одним ударом локтя сбить с ног взрослого мужчину.

Грაციозно изогнув перевернутое тело, вскинув, будто тарентский парус, коричневые от солнца ноги, сведя вместе лавирующие лодыжки, Ван растопыренными руками хватался за сходни гравитации и передвигался взад-вперед, слегка покачиваясь и обходя препятствия, не так открывая рот и странным образом моргая, с веками, похожими на бильбоке в этом непривычном положении. Больше всего поражали даже не быстрота и разнообразие движений, которые он демонстрировал, имитируя хождение зверя на задних лапах, а впечатление совершенной непринужденности его стойки; Кинг Винг предупредил его, что Векчело, юконский атлет, утратил эту способность к двадцати двум годам; но в тот летний день, на шелковистой земле соснового бора, в волшебной сердцевине Ардиса, под синим взором г-жи Эрмининой, четырнадцатилетний Ван изумил всех великолепнейшим представлением, когда-либо дававшимся руководом человеческой породы. Никакого покраснения лица или шеи! Когда он отрывал свои органы движения от покорной поверхности и, казалось, на самом деле хлопал в ладони, повиснув в воздухе в чудесной пародии на антраша, нельзя было отделаться от ощущения, что эта сновидческая ленность левитации есть следствие рассеянной благожелательности самой земли, упразднившей притяжение. К слову, одним из занятых следствий определенной деформации мускулатуры и костных «переключений», вызванных особыми упражнениями, которыми Винг доводил юношу до изнеможения, стала неспособность Вана в поздние годы пожимать плечами.

Вопросы для рассмотрения и обсуждения:

1. Отрывались ли *обе* его ладони от земли, когда перевернутый Ван, казалось, действительно «подпрыгивал» на руках?
2. Была ли поздняя неспособность Вана отвергать некоторые вещи с помощью известного плечевого жеста чисто физическим явлением или же она «соответствовала» какому-то архетипическому свойству его «глубинной натуры»?
3. Отчего Ада разрыдалась в середине его выступления?

Наконец, м-ль Ларивьер, также не оставшись в долгу, прочитала рассказ «La Rivière de Diamants», только что отстуканный ею на машинке для «Квебекского ежеквартального журнала». Хорошенькая и утонченная жена жалкого служащего одалживает у богатой подруги ожерелье. По пути домой с конторской вечеринки она его теряет. В продолжение тридцати или сорока ужасных лет несчастная пара с утра до ночи трудится и бережет каждый грош, выплачивая полмиллиона франков, взятых ими в долг для покупки ожерелья, пропажу которого они скрыли от мадам Ф., вернув ей украшение в том же футляре. О, как сильно билось сердце Матильды – откроет ли Жанна футляр или нет? Она не открыла. Когда же, постаревшие, но торжествующие (он – наполовину парализованный от полувекового переписывания бумаг на их мансарде, она – неузнаваемо огрубевшая из-за мытья полов à grand eau), они открывают свою тайну седой, но все еще моложавой мадам Ф., та произносит последнюю фразу рассказа: «Но, бедная моя Матильда, ожерелье было фальшивым: оно стоило всего-то пятьсот франков!»

Внесенная Мариной лепта оказалась скромнее, но не была лишена обаяния. Она показала Вану и Люсетте (остальным это давно уже было известно) ту самую сосну и то самое место на ее грубом рыжем стволе, где в давние, очень давние времена гнезился магнитный телефонный аппарат, сообщавшийся с Ардис-Холлом. После запрета «токов и контуров», сказала она (произнеся эти не вполне приличные слова быстро, но свободно, с актерской *désinvolture*, и заставив Люсетту недоуменно дергать знающего все на свете Вана, Ваничку за рукав), бабка ее мужа, наделенная большим инженерным талантом, заключила в трубу Редмонтский ручей (сбегающий с холма над Ардисом и протекающий по краю этой самой поляны) и устроила так, что он стал передавать по системе платиновых сегментов вибрирующие *лнззжоки* (приз-

матические пульсации). Передача сообщений, разумеется, была односторонней, а установка и наладка «барабанов» (цилиндров) требовали столько денег, сказала она, сколько и еврею не снилось, так что от затеи пришлось отказаться, как бы ни прельщала возможность оповещать пикникующего Вина, что в его доме пожар.

Словно бы иллюстрируя недовольство многих людей внутренней и внешней политикой (старик Гамалиил к тому времени уже начал впадать в детство), из Ардис-Холла вернулся, пыхтя, маленький красный автомобиль, из которого выскочил дворецкий, доставивший сообщение. Только что прибыл господин с подарком для мадемуазель Ады, но беда в том, что никто не возьмет в толк, как следует обращаться с этим сложным предметом; нужна помощь госпожи. Дворецкий положил письмо на карманный поднос и вручил Марине.

Мы не можем восстановить точную фразировку послания, но нам известно, что в нем говорилось, что этот тщательно подобранный и очень дорогой подарок представлял собой здоровенную и красивую куклу – к большому сожалению и удивлению, практически полностью обнаженную; еще удивительней было то, что на ее правой ноге имелся бандаж, левая рука была забинтована и к странной игрушке прилагался не обычный набор платиц и сорочек, а коробка с гипсовыми корсетами и резиновыми приспособлениями. Инструкция на русском или болгарском нисколько не проясняла дело, поскольку была написана не современной латиницей, а старинной кириллицей, чудовищной азбукой, которой Дан так и не смог освоить. Не могла бы Марина немедленно приехать, чтобы выкроить для куклы подходящие наряды из тех ярких шелковых лоскутов, которые ее горничная, как он обнаружил, держит в комод, а затем вновь завернуть дар в свежую папиросную бумагу?

Ада, читавшая записку из-за плеча Марины, содрогнулась от отвращения и сказала:

«Скажи ему, чтобы взял щипцы и отнес эту мерзость на хирургическую свалку».

«Беднячок! – воскликнула Марина, и глаза ее увлажнились. – Конечно, я приду. А твоя жестокость, Ада, порой кажется, порой кажется, я не знаю, – сатанинской!»

Энергично наступая своей длинной тростью, с дрожащим от нервической решимости лицом, Марина прошествовала к автомобилю, который тут же тронулся и начал разворачиваться, сминая крылом негодующие кусты пламеники и опрокидывая пустую полугаллоновую бутылку, чтобы объехать стоящую на пути коляску.

Однако, каким бы едким возмущением ни наполнился воздух над поляной, оно быстро рассеялось. Ада попросила у своей гувернантки бумагу и карандаши. Лежа на животе и подпирая рукой щеку, Ван смотрел на склоненную шею своей возлюбленной, игравшей в английские анаграммы с Грейс, которая невинно предложила слово «insect» (насекомое).

«Scient», сказала Ада и записала это слово.

«Ах нет!» – запротестовала Грейс.

«Ах да! Я уверена, что оно существует. He is a great scient (Он великий ученый муж). Dr. Entsic was scient in insects (Д-р Энтсик был знатоком насекомых)».

Грейс задумалась, постукивая резиновым кончиком карандаша по своему нахмуренному лбу, и через минуту выпалила:

«Nicest! (Милейший)»

«Incest (инцест)», немедленно парировала Ада.

«Сдаюсь, – сказала Грейс. – Нужен большой словарь, чтобы проверить твои маленькие выдумки».

Но вот послеполуденный жар достиг своей неумолимой вершины, и первый за лето злой москит был звучно прихлопнут проворной Люсеттой на Адиной голени. Уже двинулся обратно в усадьбу шарабан со стульями, корзинами и тремя жующими слугами, Эссексом, Мидлсексом и Сомерсетом; уже м-ль Ларивьер и мадам Форестье обменялись мелодичными «адье». Помахав на прощание, близнецы со своей престарелой гувернанткой и сонной молодой теткой укатили в ландо. Палевая бесплотная бабочка с очень черным тельцем полетела следом, и Ада

крикнула: «Гляди-ка!», объяснив, что то был близкий родственник японского аполлона. Ни к селу ни к городу м-ль Ларивьер объявила, что решила опубликовать свой рассказ под псевдонимом. Она подвела двух своих хорошеньких подопечных к коляске и ткнула *sans façons* кончиком зонтика в толстую красную шею Бена Райта, храпевшего на заднем сиденье под низко висящими гирляндами листьев. Ада бросила свою шляпу Иде на колени и бегом вернулась к тому месту, где стоял Ван. Не зная, где окажется солнце и куда сместятся тени на этой прогалине, Ван оставил велосипед погибать под палящими лучами по меньшей мере в течение трех часов. Усевшись на него, Ада завопила от боли, едва не упала, соскочив, оправилась, – и в тот же миг с комичным «бах!» лопнула шина заднего колеса.

Покалеченную машину оставили в кустах, откуда ее должен был вызволить Бутейан-младший, еще один персонаж-домочадец. Люсетта отказалась оставить свое место на облучке (приняв коротким вежливым кивком предложение своего пьяного напарника, который, не таясь, погладил добродушной лапой ее голые коленки), а так как страпонтина в коляске не было, Аде пришлось довольствоваться твердыми коленями Вана.

Двое детей впервые соприкоснулись телами, и оба были смущены. Она села спиной к Вану, изменила положение, когда коляска тронулась, и еще поерзала, расправляя свою пышную, пахнущую хвоей юбку, которая, казалось, воздушно облегла Вана – ни дать ни взять пелерина брадобрея. В помутнении неуклюжей отрады, Ван придерживал ее за бедра. Жаркие брызги солнца лились по ее зебровым полоскам и тыльной стороне голых рук и, казалось, летели дальше, сквозь туннель в его собственном костяке.

«Отчего ты расплакалась?», спросил он, вбирая запах ее волос и тепло ее щеки. Она повернула к нему голову и несколько мгновений глядела на него, храня загадочное молчание.

(Расплакалась? Разве? Не знаю. Это меня почему-то расстроило. Не могу объяснить, но я в этом увидела что-то пугающее, страшное, темное и, да, пугающее. Поздняя заметка.)

«Прости, – сказал он, когда она отвела взгляд. – Никогда больше не стану этого делать при тебе».

(Между прочим, относительно «ни дать ни взять». Терпеть не могу это выражение. Еще одна заметка поздним почерком Ады.)

Ван упивался ее тяжестью всем своим бурлящим и наполненным до краев существом, чувствуя, как эта тяжесть отвечает каждой неровности дороги, мягко разделяясь на две половинки и сминая в нижней точке ухаба саму жилу его желания, которое, как он знал, ему надлежит умирять, дабы возможная утечка не смутила ее невинности. Он бы все же уступил и растекся в животной слабости, кабы не гувернантка, которая отвлекла его, обратившись с вопросом. Бедный Ван переместил Адин задок на свое правое колено, притупив то, что на жаргоне пыточных застенков когда-то звалось «углом агонии». В скорбной отрешенности неутоленной похоти он созерцал ряд пронесившихся мимо изб, пока коляска проезжала Гамлетовку.

«Никогда не свыкнусь (*m'y faire*), – сказала м-ль Лапарур (*La parure*), – с этим резким контрастом между изобилием природы и убожеством человеческой жизни. Взгляните только на того старого *déchaîné* мужика с прорехой на рубашке, взгляните на его жалкую *saïane*. И посмотрите на эту быструю ласточку! Сколько счастья в природе и сколько горя в жизни людей! Никто из вас не сказал мне, как вам понравился мой новый рассказ. Ван?»

«Это хорошая сказка», сказал Ван.

«Это сказка», сказала осмотрительная Ада.

«*Allons donc!* – воскликнула м-ль Ларивьер. – Напротив, каждая деталь реалистична. Перед нами драма мелкого буржуа, со всеми заботами, мечтами и представлениями о чести, присущими его классу».

(Верно, таковым могло быть начальное намерение автора – оставляя в стороне *pointe assassine*; однако именно «реализма», по меркам его собственных требований, в рассказе не было и в помине, поскольку дотошный, привыкший считать каждый сантиметр служащий первым

делом и любым способом постарался бы узнать, *quite à tout dire à la veuve*, точную стоимость потерянного ожерелья. *Вот в чем* состоял фатальный изъян сентиментального сочинения м-ль Ларивьер, но в то время ни юный Ван, ни еще более юная Ада не могли выразить этой мысли со всей отчетливостью, хотя инстинктивно чувствовали, что вся вещица фальшива.)

Тем временем на облучке произошло небольшое движение. Люсетта обернулась и сказала Аде по-английски:

«Хочу пересесть к тебе. Мне тут неудобно, и от него нехорошо пахнет», добавила она по-русски.

«Мы почти приехали, – ответила Ада, прибавив по-русски, – потерпи».

«Что не так?» – спросила м-ль Ларивьер.

«Да ничего. *Il rue*».

«О боже! Я очень сомневаюсь, что он и впрямь прислуживал радже».

14

На другой день или два дня спустя все семейство ранним вечером закусывало в саду. Ада, сидя в траве, плела анадему из маргариток для собаки, а Люсетта, жуя оладью, наблюдала за ней. Марина почти целую минуту молча тянула через стол в направлении мужа его канотье; наконец, он тряхнул головой, бросил свирепый взгляд на солнце, ответившее ему тем же, и переместился со своей чашкой и «Тулуза Инквайер» на деревянную скамью, стоявшую на другом конце лужайки под огромным вязом.

«Спрашиваю себя, кто бы это мог быть?» – донеслись из-за самовара (отражавшего части обстановки в духе шизофренических фантазий примитивизма) слова м-ль Ларивьер, сощуренными глазами обозревавшей подъездную аллею, видимую в сквознинах пилястров ажурной галереи. Ван, лежавший ничком позади Ады, оторвался от книги (Адиного экземпляра «Аталы»).

Высокий румяный юноша в ловко сидящих бриджах наездника спешил с вороного коня некрупной породы.

«Это новый красавец-пони Грега», сказала Ада.

С непринужденными извинениями хорошо воспитанного мальчика Грег отдал Марине платиновую зажигалку, которую его тетка нашла у себя в сумке.

«Надо же, – сказала Марина, – а я даже не успела ее хватиться. Как себя чувствует Руфь?»

Грег сказал, что тетя Руфь и Грейс слегли с острым расстройством желудка – «не из-за ваших вкуснейших сэндвичей, – поспешил добавить он, – а из-за тех ягод пламеники, которыми они обедались в кустах».

Марина уже подняла было бронзовый колокольчик, чтобы лакей принес еще тостов, но Грег сказал, что едет на вечеринку к графине де Пре.

«Скоровато она утешилась», заметила Марина, имея в виду смерть графа, убитого несколько лет тому назад на пистолетной дуэли в Бостонском парке.

«Она дама очаровательная и любит общество», сказал Грег.

«И на десять лет старше меня», сказала Марина.

Тут Люсетта обратилась к матери.

«А кто такие евреи?» – спросила она.

«Инакомыслящие христиане», ответила та.

«А почему Грег еврей?»

«Почему-почему! Да потому что его родители евреи».

«А родители его родителей? И *arrière* родители?»

«Я, право, не знаю, моя милая. Твои предки были евреями, Грег?»

«Признаться, я не уверен, – сказал Грег. – Иудеями – да, но не жидами в кавычках, я хочу сказать, не комическими персонажами или христианами-коммерсантами. Они перебрались из Татари в Англию пять веков тому назад. Дед моей матери, правда, французский маркиз, был, как мне известно, католиком и бредил банками, ценными бумагами и золотом, так что мне легко представить себе людей, которые могли бы звать его „un juif“».

«Это ведь не такая уж древняя религия, во всяком случае, в сравнении с другими, не так ли?» – сказала Марина, повернувшись к Вану в смутной надежде перевести разговор на Индию, где она была танцовщицей задолго до того, как Моисей или кто-то еще родился на заросшем лотосами болоте.

«Да какая разница...», начал Ван.

«А Белль, – как Люсетта звала гувернантку, – она тоже немнящая христианка?»

«Да какая разница, – воскликнул Ван, – кого волнуют все эти ветхие мифы! Не все ли равно, Элохим или Аллах, кирка или церква, шпиль или купол, московские мечети, бронзы и бонзы, клирики и реликвии, и белые от солнца верблюжьи ребра в пустыне? Это не более чем ржа и мираж общинного сознания».

«А с чего вообще начался этот идиотский разговор?» – вмешалась Ада, отрывая руку от головы уже частично украшенного дакеля или таксика.

«Mea culpa, – пояснила м-ль Ларивьер с видом оскорбленного достоинства. – Я лишь позволила себе заметить на пикнике, что Грег, должно быть, не станет касаться сандвичей с ветчиной, поскольку евреи и татары не едят свинины».

«Римляне, – сказал Грег, – римские колонисты, распинавшие в древности евреев-христиан и варавинов, вместе с другими несчастными, тоже не ели свинины, но я определенно ем, как и мой дед».

Люсетту озадачил употребленный Грегом глагол, и чтобы показать его значение, Ван сдвинул ступни, раскинул руки и закатил глаза.

«Когда я была маленькой девочкой, – сказала Марина недовольным голосом, – историю Месопотамии преподавали едва не с пеленок».

«Не все маленькие девочки способны усвоить то, чему их учат», заметила Ада.

«А разве мы месопотамцы?» – спросила Люсетта.

«Мы гиппопотамцы, – сказал Ван. – Иди-ка сюда, – добавил он, – мы еще не пахали землю сегодня».

За день или два до того Люсетта потребовала, чтобы ее научили ходить на руках. Ван держал ее за лодыжки, пока она медленно продвигалась на покрасневших ладошках, время от времени с хриплым от натуги ворчаньем подгибая руки и падая в траву или останавливаясь, чтобы цапнуть зубами ромашку. Дак громко лаял, протестуя.

«Et pourtant, – сказала, морщась, чувствительная к шуму гувернантка, – я дважды читала ей пьесу Шекспира о злом ростовщике в басенном переложении Сегюр».

«Она еще знает переделанный мною монолог его безумного короля», сказала Ада:

Ce beau jardin fleurit en mai,
Mais en hiver
Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais
Nes't vert, nes't vert, nes't vert, nes't vert,
nes't vert.

«Ах, это замечательно!» – воскликнул Грег, буквально всхлипнув от восхищения.

«Не так энергично, дети!» – крикнула Марина, обращаясь к Вану и Люсетте.

«Elle devient pourpre, она начинает багроветь, – прокомментировала гувернантка. – Мое мнение неизменно: эта неприличная гимнастика вредна для нее».

Смеясь одними глазами, своими крепкими, как у ангела, руками держа чуть выше подъема холодные бледно-морковные ножки девочки, Ван «вспахивал землю», направляя Люсетту, будто соху. Ее яркие волосы упали ей на лицо, юбка задралась, открыв панталончики, и все равно она требовала от пахаря продолжения.

«Будет, будет», сказала Марина плугарям.

Ван осторожно опустил ее ноги и оправил платье. Она полежала с минуту, чтобы отдышаться.

«Знаешь, я с радостью одолжу его тебе, в любое время, – сказал Грег Аде. – И на сколько пожелаешь. Хочешь? К тому же у меня есть еще один черной масти».

Но она покачала головой, она покачала склоненной головой, все продолжая без остановки сплетать ромашки.

«Что ж, – сказал он, вставая. – Пора. Честь имею кланяться. До свиданья, Ада. Кажется, это твой отец там под дубом, правда?»

«Нет, это вяз», сказала Ада.

Ван посмотрел в ту сторону лужайки и с напускной задумчивостью и, быть может, с толикой мальчишеской рисовки сказал:

«Мне бы тоже хотелось полистать эту *Двулузовую* газету, когда дядя закончит. Я должен был играть за свою школу во вчерашнем матче по крикету. Вин болен, не в силах держать биты, „Риверлейн“ посрамлен».

15

Однажды днем они взбирались на гладкие ветви шаттэльского дерева в глубине сада. М-ль Ларивьер и крошка Люсетта, скрытые прихотью подлеска, но хорошо слышимые, играли в серсо. Над листвой или сквозь нее можно было видеть плавно перелетавший обруч, пущенный одной невидимой палочкой в сторону другой. Первая цикада этого лета все никак не могла настроить свой инструмент. Серебристо-черная белка Кайбаб сидела на спинке скамьи, лакомясь сосновой шишкой.

Ван, в синем тренировочном костюме, добрался к развилке, находясь прямо под своей проворной подругой по играм, много лучше знакомой со сложными перепутьями дерева, но поскольку он не мог видеть ее лица, Ван подал ей знак, слегка сжав указательным и большим пальцем ее щиколотку, точно так же, как *она* брала сложившую крылышки бабочку. Ее босая ступня соскользнула, и двое тяжело дышащих детей, осыпанные плодами и листьями, бесславно сплелись среди ветвей, ухватившись друг за друга. Через мгновение, когда они вновь обрели подобие равновесия, его бесстрастное лицо и коротко остриженная голова оказались у нее между ног, и последний плод пал вниз с глухим стуком – сорвавшаяся точка перевернутого восклицательного знака. На ней были лишь его часы и легкое ситцевое платье.

(«Помнишь?»)

«Еще бы, я помню: ты поцеловал меня сюда, прямо в серединку...»

«А ты стала душить меня своими окаянными коленками...»

«Я только искала какой-нибудь опоры».)

Вполне возможно, так все и было, но согласно поздней (значительно более поздней!) версии, они еще оставались на дереве и все еще оправлялись от смущения, когда Ван, сняв с губ гусеничную шелковую нить, заметил, что подобная небрежность туалета есть признак истерии.

«Что ж, – ответила Ада, оседлав свою любимую ветвь, – как мы все теперь знаем, м-ль Ла Ривьер де Бриллиант ничего не имеет против того, чтобы истеричная девочка не носила трусики в пору *l'ardeur de la canicule*».

«Отказываюсь делить жар твоего маленького зноя с яблоней».

«Это действительно Древо Познания – сей экземпляр, завернутый в парчу, привезли прошлым летом прямо из Эдемского национального парка, в котором сын доктора Кролика служит егерем и разводит племенных животных».

«Пусть себе служит и разводит сколько угодно (ее естественная история уже давно начала действовать ему на нервы), но могу поспорить, что в Ираке яблони не растут».

«Верно, но это не совсем яблоня».

(«И верно и не верно, – вновь много позже прокомментировала Ада. – Мы в самом деле говорили об этом, но в тот день ты бы не позволил себе такой вульгарной шутки. В тот день, когда невиннейший случай позволил тебе, как говорится, сорвать первый робкий поцелуй! О, как стыдно. Кроме того, восемьдесят лет тому назад никакого национального парка в Ираке не было». – «Правда», сказал Ван. – «И никакие гусеницы не водились на том дереве в нашем райском саду». – «Правда, моя прелесть, моя растерявшая всех личинок куколка». Естественная история к тому времени стала давнишней историей.)

Оба вели дневники. Вскоре после этого предвкушения познания произошло нечто весьма примечательное. Она направлялась к дому д-ра Кролика с коробкой выведенных ею и захло-роформированных бабочек, но уже пройдя сад, остановилась и выругалась («Чорт»!). В тот же миг Ван, шедший в противоположную сторону, чтобы поупражняться в стрельбе в расположенном неподалеку от дома павильоне (в котором имелся, кроме того, кегельбан и прочие увеселения, некогда столь любимые другими Винами), тоже внезапно замер на месте. После чего по милому совпадению оба помчались обратно в дом прятать свои дневники, которые, как оба вдруг вспомнили, остались лежать раскрытыми в их комнатах. Ада, опасавшаяся любопытства Люсетты и Бланш (патологически невнимательная гувернантка угрозы не представляла), обнаружила, что ошибалась – она все же спрятала свою книжечку с последней записью. Ван же, зная, что Ада любит немного «пошпионить», нашел в своей комнате Бланш, которая делала вид, будто заправляет уже заправленную постель, в то время как его распахнутый дневник лежал перед ней на табурете. Он легонько шлепнул ее по задку и переместил книжечку в шагреновом переплете в более надежное место. После этого Ван и Ада столкнулись в коридоре – и поцеловались бы на более ранней стадии развития Романа в Истории Литературы. То был бы изящный штрих к происшествию на шаттэльском дереве. Вместо этого оба возобновили свой путь в разных направлениях, а Бланш, полагая, отправилась рыдать в свою каморку.

16

Их первым безоглядным и неистовым ласкам предшествовал короткий период странного лукавства, подлового притворства. В роли злодея в маске выступал Ван, но ее потворство недостойным поступкам бедного мальчика, казалось, подразумевало молчаливое признание их позорной и даже чудовищной сути. Несколько недель спустя оба вспоминали эту стадию его ухаживания с веселой снисходительностью; однако в то время скрытая трусость, которую она обнаружила, озадачивала Аду и угнетала Вана – главным образом оттого, что он остро сознавал ее обескураженность.

Хотя Вану ни разу не представился случай отметить что-либо напоминающее девичье отвращение в поведении Ады, отнюдь не пугливой и не столь уж брезгливой девчушки («Je raffole de tout ce qui rampe»), по опыту двух-трех отвратительных сновидений он мог представить себе в реальной или, по крайней мере, упорядоченной жизни, как она с диким взором отшатывается от него и бросает его вождение на произвол судьбы, чтобы позвать свою гувернантку, или мать, или слугу-великана (которого в доме нет, но который во снах не только живехонек, но и вполне смертен – избиваемый кулаками в колючих перстнях, прокалываемый насквозь, будто кровавый пузырь), после чего, как он был уверен, его навсегда изгонят из Ардиса, —

(Рукою Ады: решительно возражаю против «не столь уж брезгливой девчушки». Это неверно исторически и сомнительно стилистически. Приписка Вана на полях: «Прости, киска, но это придется оставить».)

– но даже если бы он смог заставить себя посмеяться над этой картиной, дабы искоренить ее из сознания, он не мог гордиться своим поведением: в этих своих тайных отношениях с Адой, в тех поступках, которые он совершал, и так, как он их совершал, добывая свое неудобосказуемое наслаждение, он, казалось, не то пользовался ее невинностью, не то склонял ее к сокрытию от него, укрывателя, понимания того, что он скрывает.

После первого прикосновения его мягких губ, такого легкого, такого бездумного, к ее еще более нежной коже – высоко на том пятнистом дереве, где лишь пришлая *ardilla* наблюдала за ними, тихо стряхивая листья, – могло бы показаться, что в одном отношении ничего не изменилось, но все было потеряно в другом. Такие прикосновенья зачинают свой собственный порядок вещей; тактильное ощущение – это *punctum saecum*; мы соприкасаемся силуэтами. Отныне, в определенные моменты их в остальном безоблачных дней, при некоторых повторяющихся обстоятельствах контролируемого исступления, был воздвигнут тайный знак, между ними протянулась завеса, —

(Ада: Теперь они практически исчезли в Ардисе. Ван: Кто? Ах да, конечно.)

– которую нельзя было убрать, пока он не освободился от того, что необходимость притворства низводила до уровня срамного зуда.

(Ох, Ван!)

Впоследствии, обсуждая с ней эту довольно отвратительную слабость, Ван не мог сказать, в самом ли деле он опасался, что его *avournine* (как позднее Бланш назвала Аду на поддельном французском) могла бы ответить настоящим или хорошо разыгранным взрывом негодования на его откровенное проявление желания, или же его угрюмость, коварство его подступов были следствием того, что он на самом деле жалел и оберегал невинного ребенка, чья прелесть была слишком притягательной, чтобы не смаковать ее тайком, и слишком чистой, чтобы открыто посягнуть на нее; но что-то пошло не так, и это, во всяком случае, было предельно ясно. Расплывчатые общие места расплывчатой целомудренности, столь чудовищно популярные восемьдесят лет тому назад, невыносимые банальности застенчивого ухаживания, погребенные в старых романах, таких же архаичных, как Аркадия, вот *эти* настроения, *эти* приемы, несомненно, скрывались за тишиной его козней и молчанием ее терпимости. О том летнем дне, когда он начал свою настороженную и изощренную игру, никаких записей не осталось; но одновременно с ощущением, что он стоит недопустимо близко у нее за спиной, горячо дыша и скользя губами по ее волосам, у Ады возникало чувство, что эти безмолвные, странные приближения начались, должно быть, уже давным-давно, в каком-то неопределенном и безграничном прошлом, и теперь ей не под силу их прекратить без признания своего молчаливого согласия с теми привычными повторениями в том самом прошлом.

В те нещадно жаркие июльские дни Аде нравилось сидеть на прохладном, отделанном слоновой костью рояльном табурете за покрытым воценой белой скатертью столом в залитой солнцем музыкальной гостиной и, раскрыв свой любимый ботанический атлас, переносить в красках на кремовую бумагу какой-нибудь диковинный цветок. Она могла выбрать, к примеру, орхидею, имитирующую насекомое, и с большим искусством увеличить ее. Или же она могла соединить один вид с другим (никем не описанным, но теоретически возможным), привнося от себя кое-какие небольшие изменения и странные изгибы, которые казались почти нездоровыми для столь юной особы, к тому же едва одетой. Длинный луч косо падал из французского окна на высокий граненый стакан, на окрашенную воду и на жестяные тюбики красок в коробке, и пока она мастерски изображала глазчатое пятно или дольки губ, кончик ее языка загибался в углу рта из-за восторженной сосредоточенности ее занятия, и в солнечном свете это фантастическое, иссиня-черно-бурое дитя, казалось, имитировало, в свою очередь, цветок

зеркальце Венеры. Ее тонкое, свободное платье имело сзади такой глубокий вырез, что всякий раз, когда она выгибала спину, живо двигая своими выступающими лопатками и наклоняя голову, чтобы оглядеть с поднятой вверх кистью свой влажный шедевр, или тыльной стороной левого запястья смахивая прядь волос с виска, Ван, придвигавшийся к ней настолько близко, насколько хватало дерзости, мог любоваться всей ее гладкой *ensellure* до самого копчика и вдыхать тепло всего ее тела. У него стучало сердце, одна нечестивая рука была глубоко засунута в карман штанов – тот, в котором он для отвода глаз носил кошель с полдюжиной золотых десятидолларовых монет, – он склонился над ней, как она склонилась над своим рисунком. Пересохшими губами он легонько пробежал по ее теплым волосам и горячему затылку. То было сладчайшее, сильнейшее и таинственнейшее ощущение, когда-либо испытанное им. Между его убогими совокуплениями прошлой зимой и этой подернутой пушком нежностью, этим саднящим желанием не было ничего общего. Он бы мог замереть навсегда на маленькой средней выпуклости ее шейного позвонка, если бы она так и осталась навеки склоненной – и если бы наш горемыка мог и дальше сносить сладкую пытку своего полуприкосновения к ней замершими восковыми губами без того, чтобы не впиться в нее, забыв все на свете. Яркое покраснение ее открытого ушка и постепенное оцепенение, овладевавшее ее кистью, были единственными знаками – пугающими знаками – того, что она чувствует все возрастающий напор его ласк. Не говоря ни слова, он незаметно уходил в свою комнату, запирает дверь, хватал полотенце, обнажался и вызывал тот образ, который только что оставил позади, образ, все еще столь же невредимый и красочный, как укрытое в горсти пламя, – внесенное в темноту лишь с тем, чтобы с яростным рвением загасить его. После чего, ненадолго усмирившись, с ноющими чреслами и слабыми икрами, Ван вновь спускался в солнечную непорочную комнату, в которой девочка, теперь покрытая бисером пота, все так же продолжала рисовать свой цветок: изумительный цветок, притворяющийся ярким мотыльком, который, в свой черед, притворяется скарабеем. Если бы единственной заботой Вана было облегчение, все равно каким способом, молодого пыла; если бы, иначе говоря, он не был влюблен, наш юный друг смог бы вынести – в продолжение одного заурядного лета – гнусность и двусмысленность своего поведения. Но поскольку Ван любил Аду, это осложненное разрешение само по себе ничего не разрешало, или, скорее, уводило в тупик, потому что оставалось неразделенным, потому что в страхе утаивалось, потому что не могло перейти в какую бы то ни было последующую стадию несравнимо большего восторга, который, как мгlistая вершина за кошмарным горным перевалом, обещал стать истинной кульминацией его опасной связи с маленькой Адой. В течение всей той недели в середине лета, или даже двух недель, Вану казалось, что, несмотря на свои каждодневные поцелуи, бабочкой перелетающие с ее волос на ее шею, он не только не приблизился к ней, но находится от нее даже дальше, чем то было накануне дня, когда его губы случайно прикоснулись к нежному вершку ее кожи – миг, который он не успел чувственно пережить в лабиринте шаттэльской яблони.

Но природа не стоит на месте. Как-то после полудня он подобрался к ней в музыкальной гостиной еще более незаметно, чем обычно, поскольку вошел в комнату босиком, однако маленькая Ада, обернувшись к нему, закрыла глаза и прижалась своими губами к его губам в свежем, розовом поцелуе, который заморозил и поразил Вана.

«Теперь уходи, – сказала она. – Иди, иди, я занята».

И поскольку он замешкался, как болван, она мазнула его пылающий лоб своей кисточкой в подобию древнего эстотийского «крестного знаменья».

«Я еще не закончила, – прибавила она, указывая тонкой кистью, сочащейся лилово-багряной краской, на нечто, в чем соединились *Ophrys scolopax* и *Ophrys verna*, – а через минуту нам нужно будет приодеться, потому что Марина желает, чтобы Ким нас сфотографировал – как мы держимся за ручки и скалим зубы» (скалит зубы и возвращается к своему жуткому цветку).

Самый большой из имеющихся в библиотеке словарей толкует значение слова «lip» (губа) следующим образом: «Either of a pair of fleshy folds surrounding an orifice» («Любая из двух мясистых складок, окружающая отверстие»).

Милый Эмиль, как Ада звала мосье Литтре, определял так: «Partie extérieure et charnue qui forme le contour de la bouche... Les deux bords d'une plaie simple (мы попросту говорим нашими ранами; раны производят потомство)... C'est le membre qui lèche». *Милый* Эмиль!

Толстый русский энциклопедический словарь карманного формата признавал губу исключительно в значении окружного суда древней Ляски или как арктический морской залив.

Их губы были необъяснимо схожи линией, цветом и самой тканью. У Вана верхняя губа формой напоминала летящую прямо на вас длиннокрылую морскую птицу, а нижняя, полная и сердитая, придавала его обычному выражению толику брутальности. От этой брутальности в губах Ады не оставалось и следа: верхняя, напоминавшая формой лук, и нижняя, крупная, презрительно-выдающаяся, бледно-розовая, были копией Вановых уст в женском ключе.

В поцелуйную стадию (не особенно здоровые две недели долгих беспорядочных объятий) некая странная ширма ханжества отделила наших детей от, если можно так сказать, их собственных разгоряченных тел; но прикосновения и отклики на прикосновения не могли не проникать сквозь нее, подобно далеким сигналам бедствия. Бесконечно, неуклонно, трепетно, дразня ее воспаленную алость, Ван проводил своими губами по ее, так и эдак, вправо, влево, жизнь, смерть, наслаждаясь контрастом между воздушной нежностью наружной идиллии и непристойным обилием скрытой внутри мягкости.

Бывали и другие поцелуи. «Я хочу вкусить твой рот изнутри, – сказал он. – Боже, как бы я хотел стать крошечным Гулливером и обследовать эту пещеру!»

«Могу предложить тебе свой язык», сказала она и предложила.

Крупная, вареная, еще горячая клубника. Он втягивал ее настолько глубоко, насколько она только могла втянуться. Он прижимал Аду к себе и впитывал ее небо. Их подбородки были совершенно мокрыми. «Платок», сказала она и запросто сунула руку в карман его штанов, но тут же выдернула ее, предоставив ему самому извлечь его. Комментариев не последовало.

(«Я оценил твой такт», сказал он, когда они с изумлением и благоговением вспоминали то упоение и муки. «Но мы потеряли уйму времени – невозвратимых, утраченных опалов».)

Он изучал ее лицо. Нос, щеки, подбородок – все обладало такой мягкостью очертаний (ретроспективно вызывавшей в памяти кипсеки, и роскошные широкополые шляпы, и страшно дорогих молоденьких кокоток в Уиклоу), что слащавый воздыхатель вполне мог вообразить белый плюмаж тростника, этого немыслящего человека – *pascaltrezza*, – обрамляющего ее профиль, в то время как более детский и чувствительный перст мог бы полюбить, и действительно полюбил, ощупывать этот нос, щеки, подбородок. Реминисценции, как Рембрандт, темноваты, но праздничны. Те, кого вспоминают, принаряжаются к случаю и усаживаются, замерев. Память – это фотоателье *de luxe* на бесконечной авеню Пятой Власти. Лента черного бархата, которой она в тот день (день ментального снимка) подвязала волосы, подчеркивала шелковистый блеск виска и меловую линию пробора. Волосы ровным и длинным покровом спадали на шею, их поток разделяло плечо, так что матовая белизна ее шеи открывалась между струй черной бронзы в форме изящного треугольника.

Подчеркнув небольшую вздернутость ее носа, превратишь его в носик Люсетты; сгладишь его книзу – в нос самоеда. У сестер передние зубы были чуть крупноватыми, а нижние губы слишком полными для идеальной красоты мраморной смерти; а поскольку их носы часто бывали заложены, обе девочки (особенно позднее, в пятнадцать и двенадцать лет соот-

ветственно) казались в профиль немного сонными и удивленными. Сатиновая белизна Адиной кожи (в двенадцать, шестнадцать, двадцать, тридцать три, *et cetera*) была несравнимо более редким дивом, чем Люсеттин золотистый тон (в восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать пять, *finis*). Чистая, долгая линия горла у каждой из них, передававшаяся им от Марины, дразнила чувства неизвестными, несказанными обещаньями (коих мать не сдержала).

Глаза. Темно-карие глаза Ады. Что, вообще говоря, такое глаза (спрашивает Ада)? Два отверстия в маске жизни. Что (спрашивает она) значат они для существа с другой корпускулы или млечного пузыря, чей орган зрения, скажем, это внутренний паразит, формой напоминающий написанное от руки слово «око»? Что, в самом деле, значила бы для кого-нибудь пара прекрасных (человечьих, лемурих, совиных) глаз, если бы их нашли лежащими на сиденье такси? И все же мне придется описать твои. Радужка: темно-карего цвета с янтарными крупицами или спицами, расположенными вокруг серьезного зрачка по круговой шкале циферблата идентичных часовых значений. Веки: *въ складочку* (рифмуется с ее именем в уменьшительно-ласкательной форме и винительном падеже). Разрез глаз: томный. Та сводня в Уиклоу, кошмарной ночью, когда хлестал черный ледяной дождь, в самый трагичный и почти фатальный момент моей жизни (Вану теперь, хвала небу, уже девяносто лет – рукою Ады), особенно, помнится, напирала на «миндалевидный разрез глаз» своей жалкой и драгоценной внучки. О, как же я выискивал, с какой неотвязной тоской, следы и приметы моей незабвенной душеньки во всех борделях мира!

Он сделал открытие: ее руки (забудем о состоянии ее ногтей). Патетика запястья, изящество фаланг, вызывающих беспомощное преклонение, туман наворачнувшихся слез, муку неразрешимого обожания. Он тронул ее кисть, как умирающий доктор. В скорбном помрачении он ласкал параллельные ряды штриховки нежнейшего пушка, оттенявшего предплечья брюнеточки. Он вновь обратился к суставчикам. Пальцы, умоляю.

«Я сентиментальна, – сказала она. – Я могла бы анатомировать коалу, но не ее детеныша. Мне нравятся слова *damozel* (дева), *eglantine* (роза эглантерия), *elegant* (изысканный). Мне нравится, когда ты целуешь мою вытянутую белую руку».

На тыльной стороне ее левой ладони имелась такая же маленькая шоколадная родинка, которой была отмечена его правая рука. Нисколько не сомневаюсь, сказала Ада – или неискренне, или легкомысленно, – что она происходит от родимого пятнышка, удаленного Мариной хирургическим способом с этого самого места много лет тому назад, когда она была влюблена в одного хама, ворчавшего, что оно напоминает клопа.

С холма, на котором и происходил этот разговор, в особенно тихие часы таких полудней можно было расслышать предтуннельное «ту-ту» двухчасового поезда, спешащего в Тулузу.

«Хам – слишком крепко сказано», заметил Ван.

«Я ласково».

«Даже если так. Боюсь, я знаю, о ком ты. Ума у него больше, чем души, это правда».

Ладонь просящей подаяния цыганочки, покуда он глядит на нее, превращается в ладонь подателя милостыни, просящего долгой жизни. (Когда еще кинематографисты достигнут того уровня, которого достигли *мы*?) Щурясь на зеленое солнце под сенью березы, Ада объяснила своему пылкому хироманту, что беловатые кружки у нее на ладонях, которые она разделяла с тургеневской Катей, другой невинной девушкой, в Калифорнии зовутся «вальсами» («поскольку сеньорита пропляшет до утра»).

В свой двенадцатый день рождения, 21 июля 1884 года, показав недюжинную силу воли (так двадцать лет спустя она бросит курить), Ада перестала грызть ногти (но только на руках). Правда, мы могли бы вспомнить некоторые поблажки, которые она себе позволила, – к примеру, блаженное впадение в восхитительный грех на Рождество, когда *Culex chateaubriandi* Brown не носится в воздухе. Новое и окончательное решение было принято в канун Нового года, после того, как м-ль Ларивьер пригрозила бедняжке Аде вымазать кончики ее паль-

цев французской горчицей и нацепить на них зеленые, желтые, оранжевые, красные, розовые шапочки (желтый указательный – это *trouvaille*).

Вскоре после праздничного пикника, когда целование рук маленькой возлюбленной превратилось для Вана в разновидность нежной одержимости, ее ногти, хотя все еще квадратные по форме, окрепли довольно, чтобы справляться с мучительным зудом, донимавшим местных детишек в середине лета.

В последнюю неделю июля в этих краях с дьявольской неизбежностью появлялись самки шатобрианова москита. Шатобриан (Шарль) был не первым человеком, которого они искали, но он первым поймал обидчицу и с возгласами мстительного торжества препроводил ее профессору Брауну (Brown), который и составил свое опрометчиво-поспешное «Первичное Описание»: «маленькие черные щупальца... прозрачные крылья... желтоватое в определенном свете... который следует потушить, если оставлять окна открытыми (вместо *casements* (окна) напечатано *kasements* – немецкий печатник!)...», «Бостонский Энтомолог», за август, быстрая работа, 1840 года. Этот Шатобриан не состоял в родстве с великим поэтом и мемуаристом, рожденным между Парижем и Танье (а лучше бы состоял, сказала Ада, любившая скрещивать орхидеи).

Mon enfant, ma soeur,
Songe à l'épaisseur
Du grand chêne à Tagne;
Songe à la montagne,
Songe à la douceur —

– расчесывая коготками или ногтями участки, посещенные этими мохнатоногими насекомыми, отличавшимися ненасытной и неразборчивой жадой по части Адиной и Арделиной, Люсеттиной и Люсилиной (размноженных зудом) крови.

«Вредитель» налетал так же внезапно, как и исчезал. Он садился на хорошенькие голые руки и ноги беззвучно, не жужжа, в подобии *gesueilli* тишине, отчего – по контрасту – внезапное проникновение его совершенно злодейского хоботка вызывало впечатление вдруг грянувшего полкового оркестра. Через пять минут после нападения, в закатных сумерках между ступенькой крыльца и оглушенным цикадами садом вспыхивало жгучее раздражение, которое сильные и хладнокровные люди игнорировали (зная, что нужно потерпеть не больше часу), но которое людей слабых, обожаемых, падких неукротимо побуждало чесать, чесать, чесать до отвала (говоря языком кухмистерских). «Сладко!» – восклицал, бывало, Пушкин, искусанный другим видом в Юконе. Всю неделю после ее дня рождения с незадачливых ногтей Ады не сходили гранатовые пятна, и после особенно сладострастного припадка чесотки кровь буквально струилась по ее голени – зрелище и жутковатое, думалось ее встревоженному поклоннику, и в то же время чем-то постыдно привлекательное, – ибо кто же мы, как не гости и первооткрыватели в этой странной вселенной, именно, именно.

Белая кожа девочки, такая, на взгляд Вана, призывно-нежная, такая уязвимая для иглы этой твари, была тем не менее крепка, как отрез самаркандского атласа, и выдерживала любые попытки Ады освежевать себя, сколько бы она (с потемневшими глазами, подернутыми как бы дымкой эротического упоения, подмеченной Ваном уже во время их неумеренных поцелуев, с приоткрытыми губами и блестящими от слюны крупными зубами) ни скребла всеми пятью пальцами розовые бугорки с ядом редкого насекомого – ибо он *в самом деле* редок и весьма примечателен, этот комар (описанный, не совсем в один день, двумя сердитыми стариками, второго тоже звали Брауном (Braun), – филадельфийский диптерист, намного более толковый, чем бостонский профессор). Необыкновенное, восторженное зрелище являла собой моя зазноба, когда пыталась утолить похоть своей драгоценной кожи, оставляя сначала жем-

чужные, а затем рубиновые полосы вдоль обворожительной ножки и ненадолго достигая одурманивающего блаженства, в которое, будто в вакуум, с новой силой устремлялся лютый зуд.

«Послушай, детка, – сказал Ван, – если ты не прекратишь на счет три, я раскрою этот перочинный нож (раскрывает нож) и полосну себя по ноге, чтобы она стала как у тебя. Ах, умоляю, да сгрызи ты свои ногти! Все лучше, чем это».

Быть может, оттого, что жизненные соки Вана были слишком горькими – даже в те благодатные дни, – шатобрианов комар никогда его особенно не донимал. А ныне он, похоже, вымирает, – и потому что климат сделался прохладнее, и вследствие идиотского осушения чарующе богатых ладорских болот, как и топей, раскинувшихся в окрестностях Калуги (Коннектикут) и Лугано (Пенсильвания). (Небольшая популяция, только самочки, упившиеся кровью своего счастливого поимщика, недавно была отловлена, как мне сказали, в секретном ареале, довольно далеко от вышеназванных мест. Примечание Ады.)

18

Не только в глуховатые преклонные годы, которые Ван называл временем «обожания и недержания», но даже еще больше в пору их юности (лето 1888) они находили ученое удовольствие в установлении минувшей эволюции (лето 1884) своей любви, начальных стадий ее откровений, причудливых расхождений в хронографах. Она сохранила лишь несколько – главным образом ботанических и энтомологических – страниц своего дневника, потому что, перечитав, нашла его тон жеманным и фальшивым. Он целиком уничтожил свой из-за неуклюжего школьного слога, сочетавшегося с легкомысленным и фальшивым цинизмом. И потому им оставалось полагаться на устную традицию, на совместную правку общих воспоминаний. «А ты помнишь, *and do you remember, et te souviens-tu*» (с неизменно подразумеваемой кодеттой этого «а», вводящего ту бусину, которую надлежало нанизать в разорванное ожерелье) – стало для них, в их увлеченных беседах, обычным зачином каждой второй фразы. Обсуждались календарные даты, исследовалась и пересматривалась цепочка событий, сопоставлялись сентиментальные знаки, горячо разбирались те или иные сомнения и решения. Если их воспоминания порой не совпадали, часто виной тому была скорее разность полов, чем характеров. Обоих забавляла неловкость юности, обоих печалила мудрость времени. Ада склонна была рассматривать те начальные стадии как исключительно последовательный и всесторонний рост, быть может, неестественный, быть может, уникальный, но в целом чарующий своим мягким развитием, уберегшим их от грубых порывов и душевных травм. Память же Вана не могла не выделять кое-какие эпизоды, навеки заклеенные острыми и саднящими, а иногда и прискорбными телесными ощущениями. Ада жила с мыслью, что ненасытные наслаждения, открывшиеся ей вдруг, Ван испытал лишь к тому времени, когда она сама их ощутила, то есть после нескольких недель совокупных ласк; свои первые физиологические отклики на эти ласки она застенчиво отвергала как относящиеся к детским забавам, которым она предавалась и раньше и которые имели мало общего с торжеством и жаром индивидуального счастья. Ван, напротив, не только мог свести в таблицу все свои неудобосказуемые спазмы, которые ему приходилось скрывать от Ады, пока они не стали любовниками, но и подчеркивал философские и нравственные различия между сокрушительной силой самонадругательства и ошеломляющей нежностью выраженной и разделенной любви.

В воспоминаниях о наших прошлых «я» всегда есть эта маленькая фигура с длинной тенью, которая стоит, как неуверенный запоздавший посетитель, на освещенном пороге в дальнем конце сужающегося в безупречной перспективе коридора. Ада виделась себе беспризорной девочкой с удивленными глазами и потрепанным букетом цветов; Ван представлял себя гадким молодым сатиром на неуклюжих копытцах и с сомнительной свирелью. «Но мне было

всего двенадцать!» – восклицала, бывало, Ада, когда припоминалась какая-нибудь непристойная подробность. «А мне шел пятнадцатый год», печально отвечал Ван.

А помнит ли юная леди, спрашивал он, метафорически извлекая из кармана кое-какие записи, тот самый первый раз, когда она догадалась, что ее застенчивый молодой «кузен» (их официальная степень родства) испытывает физическое возбуждение в ее присутствии, хотя и был благопристойно укрыт слоями льна и фланели и не прикасался к юной леди?

Честно говоря, нет, сказала она, не помнит, да и не может этого помнить, поскольку в одиннадцать лет, несмотря на все попытки подобрать ключ к шкафу, в котором Волтер Даниэль Вин держал том «Яп. и инд. эрот. гравюр», как отлично было видно сквозь стеклянную дверцу (Ван мигом отыскал ключик, висевший на шнурке с тыльной стороны фронтона), она все еще имела довольно смутные представления о том, как происходит спаривание у людей. Конечно, она была очень наблюдательна и хорошо изучила различных насекомых *in copula*, но в обсуждаемый период недвусмысленные образчики мужественности млекопитающих редко попадались ей на глаза и находились вне всякой связи с каким-либо понятием или возможностью половой функции (как, например, тот случай в ее первой школе, в 1883 году, когда она созерцала такой мягонький с виду бежевый клювик сынишки негра-привратника, забежавшего иногда помочиться в уборную для девочек).

Два других явления, которые она наблюдала еще раньше, оказались до смешного обманчивыми. Ей было, должно быть, около девяти, когда в Ардис зачастил один пожилой господин, знаменитый художник, имя которого она не хочет и не может назвать. Ее учительница рисования, мисс Винтергрин, ставила его очень высоко, хотя вообще-то ее собственные *natures mortes* считались (в 1888-м и снова в 1958 году) несравнимо более выдающимися работами, чем картины прославленного старого мошенника, писавшего своих маленьких обнаженных натурщиц всегда только сзади – срывающие фиги и стоящие на цыпочках персиково-розовые нимфетки или взбирающиеся на скалу герль-скауты в опасно натянувшихся шортиках —

«Отлично знаю, – сердито перебил Ван, – о ком ты говоришь, и хочу официально заявить, что даже если его изысканный талант нынче не в чести, Пол Дж. Гигмент имел полное право рисовать своих школьниц и модниц у бассейна с той стороны, с какой ему было угодно. Продолжай».

В каждый приезд сего Пиг Пигмента (продолжала невозмутимая Ада) она съеживалась, слыша, как он, пыхтя и кряхтя, тащится вверх по лестнице, даже еще более неотвратимый, чем Мраморный Гость, этот мемориальный призрак, ищущий ее, зовущий ее тонким, ворчливым голосом, так не шедшим к мрамору.

«Бедолага», проговорил Ван.

Его способ потискать девочку, рассказывала она, «*puisqu'on aborde ce thème-là*, и я, конечно, *не* провожу никаких обидных сравнений», состоял в том, чтобы непрестанно, с маниакальной навязчивостью, помогать ей дотянуться до чего-нибудь, чего угодно, – принесенного им гостинца, коробочки монпансье или просто старой игрушки, подобранной им с пола в детской и высоко подвешенной на стену, или розовой свечки с синим огоньком, которую он хотел, чтобы она задула на рождественской елке. Невзирая на ее робкие протесты, он поднимал ее под локотки, не торопясь, не церемонясь, похрюкивая да приговаривая: ах, до чего же ты тяжеленькая, красоточка эдакая, – и так продолжалось снова и снова, пока не ударял обеденный гонг или не входила няня со стаканом фруктового сока, и что за облегчение испытывали все, когда во время этих поддельных подъемов ее бедный задок *наконец-то* опускался в хрустящий снег его крахмального пластрона и он отпускал ее и застегивал смокинг. А еще она помнит —

«Нелепое преувеличение, – заметил Ван. – Да к тому же, подозреваю, искусственно перекрашенное ламповым светом более поздних событий, как выяснилось еще позже».

А еще она помнит, как мучительно покраснела, когда кто-то сказал, что бедняга Пиг тронулся умом и что у него «затвердение артерии», так ей послышалось, или, может быть,

«напряжение», но она уже знала, даже тогда, что артерии могут сильно вытягиваться, ведь она видела Дронго, вороного коня, имевшего, надо сказать, вид ужасно удрученный и растерянный из-за того, что случилось с ним посреди луга на глазах у всех ромашек. Она подумала, сказала лукавая Ада (насколько искренне – это другой вопрос), что из его живота жеребенок высунул черную резиновую ногу, не понимая, что Дронго вовсе не кобыла и что у него нет сумки, как у кенгуру на любимой ее иллюстрации, но потом английская нянька объяснила ей, что Дронго просто очень больная лошадка, и все стало на место.

«Хорошо, – сказал Ван. – Все это, конечно, страшно интересно, но я имел в виду первый случай, когда ты могла подумать, что я тоже хворый Пиг или конь. Я помню, – продолжал он, – круглый стол, освещенный кругом розового света, и тебя, стоящую на коленях в кресле рядом со мной. Я сидел на пухлом подлокотнике, а ты строила карточный домик, и каждое твое движение, конечно, было особенно выразительным, как в трансе, сонно-замедленным, но в то же время необыкновенно осторожным, и я буквально упивался девичьим запахом твоей голой руки и ароматом волос, теперь загубленным какими-то модными духами. Датирую этот случай – приблизительно – десятым июня: дождливый вечер на исходе моей первой недели в Ардисе».

«Я помню карты, – сказала она, – и свет лампы, и шум дождя, и твой сизый кашемировый джемпер, но больше ничего не помню, ничего странного или недостойного, *это* началось позже. К тому же только во французских любовных романах les messieurs hument запах молодых особ».

«Что ж, я вдыхал, пока ты занималась своим осмотрительным делом. Тактильная магия. Бесконечное терпение. Кончики пальцев подстерегают гравитацию. Нещадно обкусанные ногти, моя милая. Прости мне эти записки, я не могу как следует выразить тягость грузного, липкого желания. Знаешь, я мечтал, что, когда твой замок рухнет, ты махнешь рукой русским жестом смирения с судьбой и сядешь на мою ладонь».

«То был не замок. То была помпейская вилла с мозаиками и росписями внутри – недаром я брала лишь фигурные карты из старых дедовских колод. Что ж, уселась ли я на твою горячую твердую ладонь?»

«На мою раскрытую ладонь, душка. Райские складочки. На миг ты оставалась неподвижной, заполняя мою чашу. Затем ты переменяла положение и снова встала на колени».

«Скорее, скорее, скорее, снова собирать плоские яркие карты, чтобы снова строить, снова, едва дыша? Мы все-таки были отвратительно порочными детьми, не правда ли?»

«Все смысленные дети порочны. Вижу, ты все-таки вспоминаешь —»

«Не этот именно случай, а яблоню, и как ты поцеловал меня в шею, et tout le reste. А потом – здравствуйте: апофеоз, Ночь Горящего Амбара!»

19

Что-то вроде старинной загадки («Les Sophismes de Sophie» м-ль Стопчиной в серии «Bibliothèque Vieux Rose»): был ли Горящий Амбар раньше Чердака или Чердак был первым? Конечно, раньше! Мы уже целовались всюду, кузен и кузина, когда случился пожар. Я даже получил из Ладоры кольдкрем «Château Vaignet» для своих потрескавшихся губ. И мы оба проснулись, каждый в своей комнате, когда она крикнула: «Au feu!» 28 июля? 4 августа?

Кто кричал? Стопчина? Ларивьер? Скажи! Кто кричал, что амбар flambait?

Нет, крик застиг ее, так сказать, в разгар спанья. Я знаю, сказал Ван, кричала та кустарно накрашенная горничная, подводящая глаза твоей акварелью, – во всяком случае, так говорила Ларивьерша, которая обвиняла ее и Бланш в невиданных грехах.

Ах, ну конечно! Но только не эта несчастная Франш, горничная Марины, а наша дурочка Бланш. Да, это она побежала по коридору и потеряла на главной лестнице отороченную горностаем туфельку, как Ашетт в английской версии.

«А ты помнишь, Ван, какой жаркой была та ночь?»

«Еще бы! В ту ночь из-за вспышек —»

В ту ночь из-за докучливых вспышек далеких зарниц, проникавших сквозь черные червы листы его спального приюта, Ван оставил свои два лириодендрона и отправился досыпать к себе в комнату. Суматоха в доме и вопль горничной прервали редкостный, диамантовый, драматичный сон, предмет которого он позже не смог вспомнить, хотя все еще хранил его в сбереженной шкатулке для драгоценностей. Как обычно, он спал нагишом и теперь колебался, натянуть ли ему шорты или завернуться в клетчатый плед. Он выбрал второе, погромел спичечным коробком, зажег свечку на ночном столике и мигом вышел из комнаты, готовый спасти Аду со всеми ее личинками. В коридоре было темно, где-то восторженно лаяла такса. Из удалявшихся разрозненных криков Ван заключил, что горит так называемый «баронский амбар», огромная, всеми любимая постройка верстах в четырех отсюда. Случись это ближе к осени, полсотни коров могли бы остаться без сена, а Ларивьерша без своего полуденного кофе со сливками. Ван почувствовал себя ущемленным. Они все уехали, а меня оставили одного на весь дом, как бормочет старик Фирс в конце «Вишневого сада» (Марина была сносной г-жой Раневской).

Завернутый в клетчатую тогу, Ван последовал за своим черным двойником вниз по винтовой лестнице, ведущей в библиотеку. Став голым коленом на ворсистый диван под окном, он отвел тяжелые красные шторы.

Дядя Дан с сигарой во рту и Марина в платке, сжимавшая в объятиях Дака, который заносчиво облаивал сторожевых псов, отъезжали со двора в прогулочном автомобиле — красном, как пожарная машина! — среди поднятых рук и качающихся фонарей, и тут же на хрустом повороте подъездной аллеи их обошли верхом на лошадях трое слуг-англичан с тремя французскими служанками en suite. Казалось, вся прислуга отправилась любоваться пожаром (редкое зрелище в наших сырых и безветренных краях), используя всевозможные — технически и поэтически — средства передвижения: элегические телеги, телеходы, тракторы, трициклы и даже заводные багажные тележки, которыми станционный смотритель снабдил семейство в память об их изобретателе, Эразме Вине. Одна лишь гувернантка (что уже успела установить Ада, не Ван) как ни в чем не бывало храпела с присвистом в комнате, примыкающей к старой детской, где малышка Люсетта, проснувшись, лежала с минуту неподвижно, после чего пустилась догонять свой сон и как раз успела вскочить в последнюю мебельную фуру.

Ван, стоя на коленях у венецианского окна, следил за удалявшимся воспаленным глазом сигары, наконец пропавшим. Этот всеобщий отъезд... Теперь ты.

Этот всеобщий отъезд представлял собой поистине великолепное зрелище на фоне белевого от сонма звезд небосвода (над почти субтропическим Ардисом), расцветенного внизу, между черных деревьев, далеким фламिंगовым заревом, — там, где Горел Амбар. Дорога к нему огибала большое искусственное озеро, которое вижу изрезанным ослепительной чешуйчатой рябью здесь и там каждый раз, когда какой-нибудь лихой грум или кухонный мальчишка пересекал его на водных лыжах, или в роброе, или на плоту: обычный плот оставлял за собой рябь, напоминавшую огненных японских драконов. А теперь можем проследить глазом художника за огнями автомобиля, передними и задними, продвигающимися в восточном направлении вдоль берега АБ этого прямоугольного водоема, затем резко сворачивающими на углу Б, одолевающими его короткую сторону и ползущими обратно на запад, уменьшившись и померкнув, к середине линии дальнего берега, где они уходят на север и исчезают.

Когда последние слуги, повар и ночной сторож, пробежали через лужайку к безлошадной двуколке или коляске, призывно стоявшей поодаль с задранными в небо оглоблями (или то была повозка рикши? Дяде Дану когда-то прислуживал камердинер-японец), Ван с радостью и трепетом увидел прямо там, среди чернильных кустов, Аду в длинной ночной рубашке, идущую со свечкой в одной руке и туфелькой в другой, как если бы она кралась по пятам за

отставшими огнепоклонниками. Нет, это было всего лишь ее отражение в окне. Она бросила найденную туфельку в корзину для бумаг и взобралась к Вану на диван.

«Видно что-нибудь отсюда, ах, видно или нет?» – повторяла темноволосая девочка, и сотни амбаров полыхали в ее янтарно-черных глазах, пока она вся лучилась и вглядывалась в блаженном любопытстве. Он взял у нее подсвечник и поставил на подоконник, рядом со своим, более длинным. «Ты голый, ты ужасно гадкий», заметила она без всякого выражения или осуждения, не глядя на него, после чего он, Рамзес Шотландец, затянул свой клетчатый плед потуже, когда она стала рядом с ним на колени. Некоторое время оба любовались романтическим ночным пейзажем в оконной раме. Он начал гладить ее, трепеща, глядя прямо перед собой, проводя рукой слепца вдоль ложбинки ее спины, покрытой лишь тонким батистом.

«Гляди-ка, цыгане», шепнула она, указывая на три темные фигуры – двух мужчин, один из которых нес лестницу, и ребенка или карлика, которые, озираясь, пересекали серую лужайку. Заметив освещенное свечами окно, они тут же ретировались, причем самый маленький из троицы пятился à reculons, как будто делая на ходу снимки.

«Я нарочно осталась, надеялась, что и ты тоже, – это предумышленное совпадение», сказала она, или потом сказала, что она так сказала тогда, а он все продолжал ласкать поток ее волос и сминать ее тонкую ночную рубашку, еще не решаясь запустить руку под нее, но уже осмеливаясь, однако, оглаживать ее ягодички, пока она, мягко шикнув, не села на его ладонь и свои пятки, когда пылающий карточный домик рухнул. Она повернулась к нему, и вот он уже припал губами к ее обнаженному плечу, прижимаясь к ней, как тот солдат в очереди.

Впервые слышу о нем. Я полагал, что пожилой господин Нимфопопотам был моим единственным предшественником.

Прошлой весной. Поездка в город. Утренник во французском театре. Мадемуазель потереяла билеты. Бедняга, надо думать, решил, что «Тартюф» – это гулящая или стриптизерша.

Се qui n'est pas si bête, au fond. Что, в сущности, не так уж и глупо. Хорошо. В той сцене с Горящим Амбаром —

Да?

Ничего. Продолжай.

Ах, Ван, той ночью, в ту минуту, когда мы стояли на коленях, бок о бок, перед зажженными свечами, как Молящиеся Дети на очень скверной картине, обратив – нет, не к Дражайшей Бабуле, получающей рождественскую открытку, а к удивленному и довольному Змию – две пары мягкоскладчатых подошв, унаследованных от древесных прародителей, я, помню, просто сгорала от нетерпения, так хотела получить от тебя кое-какие объяснения чисто научного рода, потому что краем глаза заметила —

Не сию минуту, сейчас это неприятное зрелище, а через мгновение станет и того хуже (или что-то в этом духе).

Ван не мог решить, то ли она вправду феноменально невежественна и чиста, как ночное небо (с которого уже сошло огневое зарево), то ли, напротив, известный опыт побуждает ее вести расчетливую игру. На самом деле это не имело значения.

Погоди, не сию минуту, глухо проговорил он.

Она настаивала: носкажимне... яхочузнать —

Своими мясистыми складками, *parties très charnues* этих страстных близнецов, Ван зарывался в черные шелка ее прямых и свободных волос, почти достающих до люмбуса (когда она запрокидывала голову, как сейчас), пытаясь добраться до нагретых постельным теплом ременных мышц шеи. (Нет нужды здесь и в других местах – был еще один подобный отрывок – испещрять довольно гладкий слог темноватыми анатомическими терминами, засевшими в памяти психиатра со студенческих лет. Поздняя приписка Ады.)

«Носкажимне...», повторила она, когда он алчно достиг своей горячей бледной цели.

«Слушай, я хочу знать», сказала она совершенно отчетливо, но уже плохо владея собой, поскольку его жадная ладонь добралась до ее подмышки, а его большой палец нажимал на ее сосок, отчего у нее свербело нёбо и звенело в ушах: звонок, вызывающий горничную в георгианском романе – необъяснимо без участия *elettricità* —

(Протестую. Нельзя. Запрещено даже на литовском и латыни. Замечание Ады.)

«— хочу знать...»

«Спрашивай, – крикнул Ван, – но только ничего не испортъ» (например, это впитывание тебя, обволакивание тебя).

«Скажи, почему, – спросила она (настойчиво, с вызовом, и пламя одной свечи перемигнуло, одна диванная подушка упала на пол), – почему ты там становишься таким толстым и твердым, когда ты —»

«Становлюсь где? Когда я что?»

Вместо объяснения она тактично, тактильно подвигала перед ним животиком, все еще более или менее коленопреклоненная, ее длинные волосы мешали, один глаз смотрел ему в ухо (к тому времени их положение по отношению друг к другу стало довольно прихотливым).

«Повтори!» – крикнул он, словно она была где-то далеко, как отражение в темном окне.

«Покажи немедленно», приказала она.

Он сбросил свой импровизированный килт, и ее тон сразу изменился.

«О дружок, – сказала она, как один ребенок другому. – С него совсем сползла кожа, и он весь горит. Больно? Ужасно больно, да?»

«Прикоснись к нему скорее!» – взмолился он.

«Ван, бедный Ван, – продолжала она уютным голоском славной девочки, которым говорила со своими кошками, гусеницами, окукливающимися питомцами, – да, не сомневаюсь, саднит нестерпимо. Ты уверен, что поможет, если я дотронусь?»

«Еще как, – сказал Ван, – *on n'est pas bête à ce point*» («есть пределы и для глупости» – разг., груб.).

«Рельефная карта, – сказала прелестная педантка, – африканские реки. – Она провела указательным пальцем по голубому Нилу до самых джунглей и поднялась обратно к верховьям. – А это что такое? У подосиновика красного намного менее бархатистая шляпка. Признаться (не переставала она лепетать), он напоминает мне цветок герани или, скорее, пеларгонии».

«Господи, да всем напоминает», сказал Ван.

«А какой он приятный на ощупь, Ван, мне нравится! Правда, очень нравится!»

«Сожми, ты, недотепа, не видишь, я умираю!»

Но наша юная ботаничка совершенно не знала, как обращаться с такой штуковиной, и Ван, которому уже ничего другого не оставалось, грубо водя ею по подолу ее сорочки, не мог сдержать стон, пока исходил лужицей наслаждения.

Она в смятении посмотрела вниз.

«Не то, что ты думаешь, – спокойно заметил Ван. – Это *не* малая нужда. В сущности, это так же чисто, как соки трав. Что ж, теперь загадка Нила раскрыта, точка, Спик».

(Любопытно, Ван, *отчего* ты из всех сил стараешься обратить наше поэтичное и неповторимое прошлое в грязный фарс? Честное слово, Ван! Ах, *я-то* как раз честен, так все и начиналось. Я не был уверен в себе, отсюда бравада и притворство. Ah, *parlez pour vous*: я могу торжественно заявить, радость моя, что те знаменитые пальчиковые странствия вверх по твоей Африке и на край земли начались намного позже, когда я знала уже весь путь назубок. Прости, нет; если бы у людей были одинаковые воспоминания, то они не были бы разными людьми. Вот-так-все-и-началось. Но мы-то не «разные»! «Думать» и «воображать» – по-французски одно слово. Подумай о *douceur*, Ван! О, я думаю об этом, конечно, я думаю – все это было *douceur*, дитя мое, рифма моя. Так-то лучше, сказала Ада.)

Пожалуйста, продолжай ты.

Обнаженный Ван растянулся на диване, освещаемый свечой, теперь ровно горящей.

«Давай останемся спать здесь, – сказал он. – Они не вернутся до тех пор, пока рассвет снова не раскурит дядину сигару».

«Моя рубашка trempée», прошептала она.

«Сними ее, этим пледом можно укрыться вдвоем».

«Не смотри, Ван».

«Это нечестно», сказал он и помог ей стянуть рубашку, освобождаясь от которой она тряхнула головой. Одно таинственное место ее мелового тела было отмечено угольно-черной штриховкой. Зловредный нарыв оставил у нее между двух ребер розовый шрам. Он поцеловал его и лег на спину, положив руки под голову. Ада сверху изучала его смуглое тело, муравьиный караван, бредущий к оазису пупка; он был довольно волосатым для своего юного возраста. Ее молодые круглые грудки нависали прямо над его лицом. Я осуждаю посткоитальную папиросу мещанина и как врач, и как художник; однако верно и то, что Ван не был равнодушен к наличию на консоли стеклянной шкатулки Турецких Травма-Тисовых папирос – слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться ленивым движением. Высокие напольные часы отбили неизвестно к чему относящуюся четверть, и Ада, подперев кулачком щеку, уже наблюдала за примечательным, хотя и странно-угрюмым подрагиваньем, неуклонным запуском по часовой стрелке и тяжелым подъемом восстающей мужественности.

Но диванный ворс был колюч, как усеянное звездами небо, и, прежде чем приступить к чему-то еще, Ада, став на четвереньки, принялась иначе устраивать плед и подушки: юная туземка, изображающая крольчиху. Находясь у нее за спиной, он нащупал и сжал в ладони ее горячее маленькое устье и мигом занял положение мальчика, лепящего замок из песка, но она обернулась к нему, простодушно готовая обнять его в том положении, в каком Джульетте советовали принять ее Ромео. Она оказалась права. Впервые за время их любви благословение, гений лирической речи, снизошли на грубоватого подростка – он бормотал и стонал, целовал ее лицо с многословной нежностью, выкрикивая на трех языках, трех величайших в мире языках, ласковые словечки, которым предстояло лечь в основу словаря тайных диминутивов, впоследствии неоднократно пересмотренного и дополненного до дефинитивной редакции 1967 года. Когда его вскрики становились слишком громкими, она умирала его, выдыхая ему в рот «ш-ш-ш», и теперь все ее четыре конечности естественным образом обхватывали его, как если бы она отдавалась многие годы, во всех наших снах, – но горячая юная страсть (бурлящая, как переполненная ванна Вана, переписывающего эту страницу – своенравный седой словоправ, сидящий на краю отельной постели) не вынесла нескольких первых слепых толчков; она выплеснулась на лепесток орхидеи, и синяя птичка сияния залилась остерегающей трелью, и огни уже крались обратно в лучах рваной зари, светляки огибали водоем, точки экипажных фонарей превратились в звезды, заскрежетали по гравии колеса, и все собаки вернулись очень довольные ночным развлечением, и ножки племянницы повара Бланш соскочили с тыквенного цвета полицейского фургона в одних чулках, без туфелек (позже, увы, много позже полуночи), и двое наших голых детей, схватив плед и рубашку, похлопали на прощанье по дивану и с легким топотом вернулись в свои целомудренные спальни, унося каждый свой подсвечник.

«А ты помнишь, – сказал седоусый Ван, беря с ночного столика каннабиновую сигарету и гремя желто-голубым спичечным коробком, – какими мы были беспечными, и как Ларивьерша вдруг перестала храпеть и через мгновение начала с новой силой, и какими холодными были железные ступени, и как меня смутила твоя – как бы это выразить? – необузданность».

«Болван», сказала Ада со своего места у стены, не поворачивая головы.

Лето 1960-го? Переполненный отель где-то между Эксом и Ардезом?

Надо бы начать датировать каждую страницу рукописи: нужно быть добрее к моим неведомым мечтателям.

Наутро, еще не оторвав головы от наполненной снами глубокой подушки, добавленной к его во всех иных отношениях аскетичной постели милашкой Бланш (с которой по сновидческим правилам пти-жё он держался за руки в душераздирающем кошмаре – или, быть может, то были только ее дешевые духи), наш юноша тут же почувствовал напор счастья, стучащего в дверь. Он намеренно старался продлить сияние его неопределенности, пустившись по последним следам жасмина и слез вздорного сна, но тигр счастья одним прыжком вторгся в явь. О, радость недавно обретенного права! Ее тень, казалось, накрыла последнюю часть его сна, в которой он сказал Бланш, что научился левитации и что способность с волшебной легкостью парить в воздухе позволит ему побить все рекорды по прыжкам в длину, он сможет, как бы шагая в нескольких вершках от земли, одолевая расстояние, скажем, в десять или одиннадцать метров (слишком большая протяженность может показаться подозрительной): трибуны ревут, а замерший Замбовский из Замбии глядит, подбоченившись, глазам своим не веря.

Нежность придает подлинному триумфу завершенность, умиление умиливает истинное раскрепощение: эмоции, которые во снах не применимы ни к славе, ни к страсти. Невиданная радость, которую Ван испытывал отныне (и до скончания времен, как он надеялся), во многом черпала свою силу из уверенности, что он волен осыпать Аду, не таясь и не спеша, всеми теми мальчишескими ласками, о которых он прежде не мог и помыслить из страха перед общественным порицанием, из-за мужского эгоизма и моральной оглядки.

По воскресным дням о завтраке, обеде и ужине возвещали три гонга – малый, средний и большой. Первый только что пригласил на завтрак в столовую. Его короткий гром взволновал Вану мыслью, что всего двадцать шесть ступенек отделяет его от юной сообщницы, нежный мускус которой все еще хранила впадина его ладони. Вану охватило чувство восторженного изумления: неужели это *в самом деле* случилось? Неужели мы теперь *вправду* свободны? Некоторые комнатные птицы, рассказывают китайские знатоки, трясая от смеха жирными брюхами, каждое треклятое утро, лишь проснутся, бьются о прутья клетки, как бы продолжая свой естественный полет, продлевающий их сон, и падают замертво на несколько минут, хотя в остальное время эти яркоперые узники веселы и покорны, щебечут как ни в чем не бывало.

Ван сунул голую ступню в теннисную туфлю, одновременно вытаскивая из-под кровати ее пару; он поспешил вниз, мимо довольного с виду князя Земского и мрачного Винсента Вина, епископа Балтикомора и Комо.

Но она еще не спустилась. В светлой столовой, полной желтых цветов, склонявших свои венчики в лучах солнца, дядя Данила принимал пищу. Он был одет под стать жаркому деревенскому дню: костюм в яркую полоску, как на конфетных обертках, лиловая фланелевая рубашка, пикейный жилет, красно-синий клубный галстук, очень высокий мягкий воротник, скрепленный золотой английской булавкой (правда, все его аккуратные полоски и тона слегка сместились в процессе печати комиксов, потому что было воскресенье). Он как раз доел первый ломтик поджаренного хлеба, смазанный маслом и Тем Самым Апельсиновым Мармеладом, и теперь, отхлебнув кофе, с индюшиным кулдыканьем полоскал свои зубные протезы, прежде чем проглотить жидкость вместе с аппетитными крошками. Будучи человеком не робкого десятка (у меня имелись некоторые основания так полагать), я мог заставить себя прямо смотреть на его розовое лицо, с этими рыжими (вращающимися) «щетками», но я не был обязан выносить (так думалось Вану в 1922 году, когда он снова увидел цветки этих *baguenaudier*) его лишенный подбородка профиль с курчавыми рыжими бакенами. Так что Ван не без аппетита оглядывал синие горшочки горячего шоколада и нарезанные хлебные булки, приготовленные для голодных детей. Марина завтракала в постели, дворецкий и Прайс – в укромной нише кладовой (что наведало отчего-то приятные мысли), а м-ль Ларивьер не притрагивалась

к еде до полудня, будучи суеверной «мидинеткой» (такая секта, а не галантерея), которой удалось обратить в эту веру даже своего духовника.

«Мог бы и нас взять на пожар, дядюшка», заметил Ван, наливая себе полную чашку шоколада.

«Тебе Ада все расскажет, – ответил дядя Дан, любовно смазывая второй ломтик поджаренного хлеба маслом и мармеладом. – Она в восторге от этой экскурсии».

«А разве она поехала с тобой, неужели?»

«Ну да, в черном шарабане, со всеми дворецкими. Презабавное происшествие, в самом деле».

«Но то, верно, была одна из посудомоек, а не Ада, – сказал Ван. – Я и не знал, – добавил он, – что их здесь несколько, я имею в виду дворецких».

«О, похоже, что так», туманно ответил дядя Дан. Он повторил свое потайное полоскание и, слегка кашлянув, надел очки, но поскольку утренней газеты еще не приносили, снова снял их.

Вдруг Ван услышал ее милый задумчивый голос на лестнице, обращенный к кому-то наверху: «Je l'ai vu dans une des corbeilles de la bibliothèque», – вероятно, подразумевая герань или фиалку, а может быть, венерин башмачок. Наступила «пауза у перил», как говорят фотографы, и после того, как из библиотеки донесся радостный крик горничной, голос Ады добавил: «Je me demande, хочу я знать, qui l'a mis là, кто ее туда положил». Aussitôt après, она вошла в столовую.

Она надела, не сговариваясь с ним, черные шорты, белое джерси и теннисные туфли. Заплетенные в тугую косу волосы были убраны назад, открывая ее большой выпуклый лоб. Розовая сыпь под нижней губой блестела от глицерина сквозь слой небрежно нанесенной пудры. Она была слишком бледной, чтобы казаться по-настоящему красивой. В руках она держала томик стихов. Моя старшая довольно невзрачна, зато волосы дивные, а младшая прехорошенькая, хотя и рыжая, как лиса, – замечала, бывало, Марина. Неблагодарный возраст, неблагоприятное освещение, неблагоприятный художник, но *благодарный* любовник. В нем высоко поднялась откуда-то из подложечной впадины настоящая волна обожания. Пронзительное волнение видеть ее, сознавать, что она знает и что никто больше не знает, чему они предавались так свободно, и грязно, и сладостно менее шести часов тому назад, – оказалось слишком сильным для нашего зеленого любовника, несмотря на его попытку опошлить произошедшее посредством моральной коррективы позорного наречия. Выдавив вялое «здрасьте», а не обычное утреннее приветствие (которое она, впрочем, пропустила мимо ушей), – Ван склонился над завтраком, следя в то же время за каждым ее движением тайным полифемовым органом. Проходя за спиной г-на Вина, она легонько шлепнула его по лысому темени своей книжкой и шумно подвинула стул рядом с ним по другую сторону от Вана. Хлопая кукольными ресницами, она наполнила большую чашку шоколадом. Подцепив ложкой кусок сахара и погрузив его в чашку, она с удовольствием глядела, как горячая коричневая масса, и без того сладкая, заливает и растворяет оплывающий зернистый уголок, а затем и весь кубик.

Между тем дядя Дан запоздалым движением согнал со своего темени воображаемое насекомое, поднял глаза, огляделся и наконец заметил появление вновь прибывшей:

«Ах да, Ада, – сказал он, – вот Вану не терпится кое-что выяснить. Чем это ты занимаешься, милая, пока мы с ним тушили пламя?»

Ада зарделась его отблеском. Вану никогда не приходилось видеть девочки, да еще с такой прозрачно-белой кожей, да и вообще кого бы то ни было, фарфорового или персикового, кто бы краснел так сильно и привычно, и эта особенность огорчала его гораздо больше, чем любой поступок, который мог ее вызвать. Она украдкой бросила растерянный взгляд на помрачневшего мальчика и понесла что-то о том, что она спала как угорелая, то есть убитая, в своей постели.

«Ничего подобного, – резко перебил ее Ван, – ты со мной смотрела на пожар из окна библиотеки. А дядя Дан is all wet (сел в лужу)».

«Ménagez vos américanismes», сказал тот, а затем широко развел руки в отеческом объятии, встречая простодушную Люсетту, которая вбежала в комнату, держа в кулачке, как хоругвь, игрушечную розовую рампетку для ловли бабочек, с жесткой, будто накрахмаленной, сеткой.

Ван, глядя на Аду, неодобрительно покачал головой. Она показала ему острый лепесток языка, и ее возлюбленный, негодуя сам на себя, почувствовал, что в свою очередь заливается краской. Вот тебе и раскрепощение! Он свернул салфетку кольцом и удалился в *мьстечко* на дальней стороне вестибюля.

После того как она в свою очередь покончила с завтраком, он подстерг ее, налитанную сливочным маслом, на площадке лестницы. Они располагали всего минутой, чтобы сговориться; дело было, с исторической точки зрения, на заре развития романа, еще находившегося в руках дочек викариев и французских академиков, так что такие мгновения были бесценны. Она стояла, почесывая приподнятое колено. Условились пойти на прогулку перед обедом и подыскать неприметный уголок. Ей нужно было закончить перевод для м-ль Ларивьер. Она показала ему свой черновик. Из Франсуа Коппе? Да.

Спадают листья в грязь. В полете
Их различает лесоруб:
Лист клена – по кровавой плоти,
По медным листьям – старый дуб.

«Leur chute est lente, – сказал Ван, – on peut les suivre du regard en reconnaissant: этот парафрастический подход с полетом и лесорубом, конечно, чистый Лоуден (незначительный поэт и переводчик, 1815–1895). Пожертвовать же первой половиной строфы ради спасения второй – все равно что бросить возницу на съедение волкам, как сделал один русский барин, после чего и сам выпал из саней».

«А я думаю, что ты очень жесток и глуп, – сказала Ада. – Стишок этот не претендует ни на произведение искусства, ни на блестящую пародию. Это выкуп, который требует свихнувшаяся гувернантка от бедной переутомленной школьницы. Жди меня в беседке у кустов пузырьника, – добавила она, – я приду ровно через шестьдесят три минуты».

Ладони у нее были холодными, а шея горячее; юный помощник почтальона звонил у парадной двери; Бут, молодой лакей, побочный сын дворецкого, пошел отворять, ступая по гулким плитам холла.

По воскресеньям почта запаздывала из-за пухлых воскресных приложений к балтикоморским, калужским и лужским газетам, которые старик-почтальон Робин Шервуд, облаченный в ярко-зеленую форму, развозил верхом на лошади по сонной округе. Ван, сбегавший с террасы через ступень и напевавший школьный гимн, – единственная мелодия, которую он когда-либо мог воспроизвести, – заметил Робина: сидя на старой гнедой кобыле, он держал за поводья более живого черного жеребца своего воскресного помощника, красавца-англичанина, к которому (как судачили за розовыми изгородями) старик был привязан гораздо крепче, чем того требовала служба.

Ван дошел до третьей лужайки и до самой беседки; он внимательно осмотрел сцену, подготовленную для постановки, «как провинциал, явившийся за час до начала оперы после целого дня тряского пути по проселочным дорогам, поросшим маками и васильками, которые цеплялись за ободья и мелькали в колесах его брички» (из «Урсулы» Флоберга).

Голубые бабочки, размером с репницу и того же европейского происхождения, быстро кружили над кустами и садились на поникшие соцветия желтых цветов. Сорок лет спустя и

при более благоприятных обстоятельствах наши влюбленные вновь с удивлением и радостью увидят таких же насекомых и такие же кусты пустыльника, растущие вдоль лесной тропы около Зустена, в Валлийском кантоне. Сейчас он с нетерпением готовился набрать побольше деталей, которые сможет вскоре неторопливо перебирать в памяти. Растянувшись на дерне, он следил за крупными и смелыми голубянками, обмирая от вида воображаемых им белых ног и рук Ады в пятнистом свете беседки и рассудительно убеждая себя в том, что реальность не может тягаться с фантазией. Искушавшись в широком и глубоком ручье за боскетом, он с мокрыми волосами и звенящей кожей вернулся к беседке, где испытал редкое удовольствие, найдя точную репродукцию своего видения, воплощенного в живой белизне слоновой кости, с той лишь разницей, что она распустила волосы и надела короткое платьице из яркого ситца, которое он так страстно любил и так пылко мечтал запятнать в столь недавнем прошлом.

Он решил раньше всего заняться ее ногами, ему казалось, что прошлой ночью он не отдал им должного; покрыть их поцелуями, от А – арки подъема ступни, до бархатистой V – ижицы, и это намеренье Ван немедленно исполнил, как только они уединились в глубине хвойной роши, замыкавшей парк по обрыву скалистой кручи, отделявшей Ардис от Ладоры.

Так и осталось неустановленным, хотя они и не стремились это установить, – как, когда и где он ее «дефлорировал» – вульгаризм, значение которого Ада в Стране чудес случайно нашла в «Энциклопедии Фроди»: «...прорвать вагинальную перепонку девственницы по-мужски или механическим способом»; к чему был дан пример: «Благодеяние его души подверглось дефлорации (Иеремия Тейлор)». Произошло ли это на клетчатом пледе в ночь пожара? Или в другой день под лиственницами? Может быть, позже, в стрелковом тире, или на чердаке, на крыше, на неприметном балконе, в ванной, или – не без риска – на ковре-самолете? Мы не знаем и не очень-то хотим знать.

(Ты так много и так часто целовал, покусывал, и теребил, и теснил меня там, что моя девственность потерялась в этой горячке; но я отлично помню, мой милый, что к середине лета машина, которую наши предки именовали «сношением», работала столь же слаженно и гладко, как и потом, в 1888 году и после. Приписка на полях красными чернилами.)

21

Аде не разрешалось свободно пользоваться библиотекой. Согласно последнему реестру, отпечатанному 1 мая 1884 года, она состояла из 14 841 издания, но даже этот простой перечень гувернантка предпочитала держать от ребенка подальше, «pour ne pas lui donner des idées». Разумеется, на ее собственных полках стояли таксономические труды по ботанике и энтомологии, а также школьные учебники и несколько выхолощенных популярных романов. В библиотеке же ей не только воспрещалось рыться без надзора, но и каждая книга, которую она брала, чтобы почитать в постели или в беседке, проверялась ее наставницей и выписывалась «en lecture» с указанием имени и с проштемпелеванной датой в картотеке, содержавшейся м-ль Ларивьер в скрупулезном хаосе и в каком-то отчаянном порядке (со вставками запросов, сигналов бедствия и даже проклятий на осьмушках розовой, красной или багровой бумаги) ее кузеном, миниатюрным старым холостяком Филиппом Верже, болезненно замкнутым и застенчивым господином, который дважды в месяц приходил в библиотеку ради нескольких часов тихой работы – до того в самом деле бесшумной, что однажды вечером, когда высокая подвижная лестница, на вершине которой мосье Верже стоял с охапкой книг, вдруг очень медленно повалилась в жуткий обморок, он навзничь упал на пол вместе с лестницей и книгами в такой невозмутимой тишине, что преступница Ада, полагавшая, что в библиотеке никого нет (она вынимала и пролистывала совершенно разочаровавшие ее «Тысячу и одну ночь»), приняла его падение за тень двери, тишком отворенной каким-то пухлявым евнухом.

Близость Ады с ее *cher, trop cher René*, как она иногда, ласково подшучивая, называла Вана, кардинально переменяла положение дел – какие бы декреты ни были оглашены доселе. Едва приехав в Ардис, Ван уведомил свою бывшую гувернантку (у которой были основания принимать его угрозы всерьез), что если ему воспретят брать в библиотеке в любое удобное ему время, на любой срок и без всяких отметок «*en lecture*» все, что ему вздумается, какой-нибудь том, или собрание сочинений, или брошюры в коробках, или инкунабулы, – он попросит отцовскую библиотекаршу, мисс Вертоград, безупречно-исполнительную и бесконечно услужливую старую деву того же формата и приблизительно того же года выпуска, что и мосье Верже, отправить в Ардис-Холл сундуки с произведениями вольнодумцев восемнадцатого века, трудами немецких сексологов и полными комплектами всяких камасутр и Нафзави в дословных переводах и с апокрифическими дополнениями. Озадаченная м-ль Ларивьер могла бы спросить, что думает на этот счет хозяин Ардиса, но она никогда не обсуждала с ним ничего серьезного с того дня (в январе 1876 года), когда он нежданно-негаданно (и, по совести сказать, без огонька) попытался за ней приударить. Что же до дражайшей и легкомысленной Марины, то она лишь заметила, когда к ней обратились, что в Вановы годы она отравила бы свою гувернантку тараканьей бурой, ежели бы ей запретили читать, ну, к примеру, тургеневский «Дым». Засим все, что Ада желала или могла бы пожелать прочесть, Ван предоставлял в ее распоряжение в разных укромных уголках усадьбы, и единственным видимым следствием все возмраставшего недоумения и отчаяния мосье Верже было увеличение того странного белоснежного праха, который он всегда оставлял после себя, то там, то здесь, на темном ковре или в ином месте, смотря по тому, где он занимался своей кропотливой работой, – что за казнь египетская для такого опрятного маленького господина!

На славном рождественском балу для служащих частных библиотек, устроенном года за два до того попечением Брайлевского Клуба в Радуге, чуткая мисс Вертоград заметила, что смеявшийся мелким смехом Верже, с которым она разорвала доставшуюся им крохотную хлопушку (ожидаемого хлопка не последовало, и за красивой золотой бумагой, гофрированной с обоих концов, не оказалось ни конфеты, ни брелока, ни какого-либо иного подарка судьбы), разделял с ней, кроме того, примечательную кожную болезнь, которая недавно была описана знаменитым американским писателем в романе «Хирон» и о которой уморительным слогом поведал известный эссеист лондонского еженедельника, еще одна ее жертва. Мисс Вертоград очень деликатно стала передавать через Вана довольно неблагодарному французскому господину библиотечные бланки с разного рода краткими советами: «Ртутная мазь!» или «„*Nöhensonne*“ творит чудеса». М-ль Ларивьер, зная о напасти своего брата, отыскала статью «Псориаз» в однотомной медицинской энциклопедии, которая досталась ей в наследство от матери и которая не только отлично послужила ей самой и ее воспитанникам при всяких пустяковых случаях, но и безотказно снабжала подходящими недугами героев ее рассказов, печатавшихся в «Квебекском ежеквартальнике». Применительно к данному случаю энциклопедия оптимистично предписывала «по крайней мере дважды в месяц брать теплую ванну и избегать пряной пищи». М-ль перестукала эту рекомендацию на машинке и передала кузену в особом конверте, украшенном печатным пожеланием «Скорейшего выздоровления». Этим, однако, дело не кончилось. Ада показала Вану письмо от д-ра Кролика, посвященное тому же предмету; в нем сообщалось следующее: «Этих несчастных, покрытых пунцовыми пятнами, серебристой чешуей или желтыми струпиями, безобидных псориатиков, кожная болезнь которых не заразна и которые во всех иных отношениях могут быть абсолютно здоровыми людьми – поскольку их бобо отлично предохраняет „и от люэса, и от гусарского насморка“, как говаривал мой учитель, – в Средние века принимали за прокаженных, да-да, прокаженных, и тысячи, если не миллионы Верже и Вертоград выли и лопались, привязанные энтузиастами к столбам на площадях Испании и других огнелюбивых стран». Эту записку, впрочем, они решили не

подсовывать смиренному мученику в картотеку под литерами PS, как сперва хотели сделать: знатоки чешуекрылых бывают чересчур красноречивыми, говоря о чешуйках.

Первого августа 1884 года бедный библиотекарь подал *démission éplorée*, и с той поры романы, стихи, научные и философские труды стали исчезать из библиотеки без следа. Они пересекали лужайки и плыли вдоль живых изгородей, подобно предметам, которые уносил Человек-невидимка в восхитительной сказке Уэллса, и опускались Аде на колени, где бы юные любовники ни назначали свои свидания. Оба искали в книгах волнения, как делают лучшие читатели; оба находили во многих прославленных сочинениях претенциозность, скуку и прикрытое гладким слогом невежество.

При первом чтении (лет в девять или десять) повести Шатобриана о романтических единокровных брате и сестре Ада не совсем поняла предложение «*les deux enfants pouvaient donc s'abandonner au plaisir sans aucune crainte*». Один похабный критик в сборнике статей «*Les muses s'amuse*» («Музы резвятся»), которым Ада теперь могла вдоволь натешиться, пояснил, что «*donc*» относится как к бесплодию нежного возраста, так и к бесплодности нежного кровосмешательства. Ван, впрочем, сказал на это, что и писатель, и критик заблуждаются, и в доказательство обратил внимание своей ненаглядной на главу в опусе «Акт половой и акт правовой», посвященную общественным последствиям пагубного каприза природы. В те времена в этой стране определение «виновный в кровосмешении» означало не только «порочный» – значение, обсуждавшееся больше лингвистами, чем юристами, – но также предполагало (к примеру, во фразе «кровосмесительное сожительство») покушение на естественный ход человеческой эволюции. История давно уже заменила апеллирование к «божественному праву» здравым смыслом и научно-популярными воззрениями. При сложившемся взгляде на вещи видеть в «инцесте» преступление – все равно что полагать таковым и инбридинг. Однако, как еще во дни Мятежей Альбиносов в 1835 году смело заметил судья Болд, практически все североамериканские и татарские скотоводы и земледельцы применяли инбридинг как метод разведения, который способствовал (при осмотнительном использовании) сохранению, улучшению, устойчивости и даже восстановлению особенно ценных свойств той или иной породы или сорта. При неосмотнительной практике родственное смешение приводило к различным формам вырождения, к появлению калек, немощных, «немых мутантов» и, наконец, к безнадежной бесплодности. Вот *это* уже отдавало «преступлением», и поскольку никто не мог рационально контролировать оргии беспорядочного инбридинга (где-то в бескрайней Татарии пятьдесят поколений все более и более шерстистых овец недавно пресеклись рождением одного последнего ягненка, совершенно голенького, пятиногого и беспомощного, и хотя многие заводчики и овчары были казнены, возродить тучную породу так и не удалось), возможно, лучшим решением было вовсе запретить «кровосмесительное сожительство». Судья Болд и его сторонники с этим не согласились, усмотрев в «сознательном запрете возможного блага ради предотвращения вероятного зла» покушение на одно из неотъемлемых прав человека – на право наслаждаться свободой собственной эволюции, свободой, которую никогда не знало ни одно другое живое существо. К несчастью, после слухов о беде, постигшей волжские стада и их пастухов, в разгар споров С. Ш. А. потрясли *fait divers*, подкрепленные более точными данными. Некто Иван Иванов, американец из Юконска, кратко охарактеризованный как «привычно пьяный поденщик» («чудное определение истинного художника», вскользь заметила Ада), ухитрился каким-то образом, во сне (как утверждал он сам и члены его большой семьи), обрюхатить свою пятилетнюю правнучку Марью Иванову, а затем, пять лет спустя, в очередном припадке беспамятства, заделал ребеночка ее дочке Дарье. Фотографии Марьи, десятилетней бабули, с маленькой Дарьей и ползающей у ее ног Варенькой, облетели все газеты, и немало забавных парадоксов произошло из этого генеалогического фарса, затронувшего не всегда чистые отношения многочисленных представителей клана Ивановых в возмущенном Юконске. Дабы шестидесятилетний лунатик не продолжил пополнять свой род, его, как того требовал древний русский закон,

сослали на пятнадцать лет в монастырь. После освобождения он предложил загладить свою вину женитьбой на Дарье, к тому времени ставшей дебелой бабой со своими заботами. Репортеры много писали об этой свадьбе и бесчисленных дарах от доброхотов (старушки из Новой Англии, передовой поэт из Вальс-колледжа Теннесси, целая мексиканская школа всем скопом, и т. д.), и в тот же день Гамалиил (тогда еще крепкий молодой сенатор) с такой силой треснул по столу переговоров, что повредил кулак. Он потребовал пересмотра дела и смертной казни. То был, разумеется, лишь эмоциональный жест, и все же «дело Иванова» отбросило длинную тень на скромный вопрос о «благоотворном инбридинге». К середине столетия не только двоюродным, но и дядьям и внучатым племянницам запрещалось вступать в браки, а в некоторых особенно обильных волостях Эстотии, где в избах, случается, с дюжину членов одной крестьянской семьи разных полов и возрастов вповалку спят на тонком, как *блинъ*, тюфяке, для удобства дозорных с керосиновыми фонарями (антиирландские бульварные газеты прозвали их «Подглядывающими Патриками») запретили на ночь занавешивать окна.

В другой раз Ван не мог не рассмеяться от души, когда добыл для энтомологички Ады следующий отрывок из достоверной «Истории копулятивных обычаев»: «Некоторые опасности и нелепости, связанные с миссионерской позицией, которая повсеместно принята для целей продолжения рода нашей пуританской интеллигенцией и которая справедливо высмеивается „примитивными“, но здоровыми туземцами островов Бегоури, отмечены известным французским востоковедом [следует обширная сноска, здесь опускаемая], описавшим брачные привычки гнуса *Serromyia amorata* Roupart. Совокупление происходит с прижатием брюшных поверхностей самца и самки и соприкосновением ротовых отверстий. После заключительного содрогания (*frisson*) мушиного коитуса самка высасывает внутренности своего страстного партнера через его ротовое отверстие. Предполагается (см. Пессон et al.) [еще одна пространная сноска], что всякие лакомства, такие как сочная лапка жука, завернутая в паутину, или даже обычный пустячок (легкомысленный тупик или утонченное начало эволюционного процесса – *qui le sait!*), к примеру, аккуратно обернутый и перевязанный листовидным отростком красного папоротника цветочный лепесток, который некоторые мушинные самцы (но, очевидно, не кретины, принадлежащие к виду *femorata* и *amorata*) предусмотрительно подносят самке перед спариванием, предохраняют их от неуместной прожорливости юной леди».

Но еще забавнее было «сообщение» некой канадской социальной работницы Mme de Réan-Fichini, опубликовавшей свой трактат «О противозачаточных средствах» на капусканском наречии (она не хотела смущать эстотианцев и соединенных штатианцев, желая в то же время просветить своих более закаленных коллег). «*Sole sura metoda, – писала она, – por decevor natura, est por un strong-guy de contino-contino-contino jusque le plesir brimz; et lors, a lultima instanta, svitchera a l'altra gropa (желобок); ma perquoi una femme ardora andor ponderosa ne se retorna kvik enof, la transita e facilitata per positio torovago*». (Единственный надежный способ обмануть природу, это крепкому молодцу продолжать-продолжать-продолжать, покуда блаженство вот-вот не хлынет через край, и тогда в последний миг переключиться на другой желобок: так как женщина от страсти и/или неуклюжести не может повернуться достаточно быстро, то переход лучше делать в позе тороваго.) Заключительный темный термин в прилагаемом глоссарии объяснялся на грубоватом английском как «позитура, обыкновенно используемая в глубинке на всем протяжении Соединенных Америк, от Патагонии до Гаспе, всей тамошней сволочью, начиная с сельской знати и кончая последней крестьянской скотиной».

«Ergo, – заключил Ван, – гори наш миссионер синим пламенем».

«Твоя вульгарность беспредельна», сказала Ада.

«Что ж, я предпочитаю сгореть, чем быть заживо съеденным этой твоей Шерами – или как там ее кличут – и чтобы моя вдова отложила на моих останках горку крошечных зеленых яицек!»

Парадоксально, но в «ученой» (scient) Аде наглядные пособия с гравюрами различных органов, картинами мрачных средневековых борделей и фотографиями того или иного маленького Кесаря, извлекаемого из утробы мясниками в передниках (в прошлом) и эскулапами в масках (ныне), вызывали лишь смертную скуку. Вана же, не терпевшего «естествознания» и яростно отказывавшего физической боли в праве на существование в любом из миров, бесконечно привлекали изображения и описания истерзанной человеческой плоти. В остальном, в отношении более приятных предметов, их вкусы и искусства были почти идентичными. Им нравились Рабле и Казанова, они не выносили сира Сада, герра Мазоха и Генриха Мюллера. Английская и французская фривольная поэзия, порой остроумная и познавательная, в конечном счете вызвала у них непреодолимое отвращение, а присущая ей склонность (особенно во Франции до вторжения) описывать половые подвиги монахов с монашками, представлялась им столь же непостижимой, сколь и удручающей.

Собранная дядей Даном коллекция гравюр восточной эротики оказалась вполне второсортной в художественном отношении и абсурдной в рассуждении человеческой пластики. Самая разудалая и дорогая картина изображала монголку с тупым овальным лицом, увенчанную безобразной прической, которая отдавалась сразу шестерым довольно упитанным и бесстрастным гимнастам в помещении, похожем на витрину: с ширмами, цветочными горшками, шелками, бумажными веерами и глиняной посудой. Трое мужчин, изогнувшись в одинаково неудобных и замысловатых позах, одновременно использовали три главных отверстия блудницы; двое пожилых клиентов обслуживались ею мануально, а шестому, карлику, оставалось довольствоваться ее деформированной стопой. Шестеро других сластолюбцев пристроились к задкам ее непосредственных партнеров, а еще один удовлетворял свою похоть с помощью ее подмышки. Дядя Дан, терпеливо распутавший все эти конечности и жировые складки, прямо или косвенно связанные с совершенно невозмутимой дамой, каким-то образом сохранившей остатки одежды, написал карандашом цену гравюры и пометил ее как «Гейша с тринадцатью любовниками». Ван, однако, обнаружил пятнадцатый пупок, выведенный щедрым художником, но не получивший какого-либо анатомического оправдания.

Библиотека предоставила высокие декорации для незабываемой сцены Горящего Амбара; она распахнула свои остекленные двери; она сулила долгую идилию библиомании; она могла бы стать главой в одном из старых романов на одной из ее собственных полок; оттенок пародии придал ее теме свойственную самой жизни комическую разрядку.

22

*Сестра моя, ты помнишь гору,
И дубъ высокій, и Ладору?*

My sister, do you still recall
The blue Ladore and Ardis Hall?

Don't you remember any more
That castle bathed by the Ladore?

Ma soeur, te souvient-il encore
Du château que baignait la Dore?

Сестра моя, все ль помнишь ты
Ладорский замок, плеск реки?

My sister, you remember still
The spreading oak tree and my hill?

Oh! qui me rendra mon Aline
Et le grand chêne et ma colline?

О, кто мне Джилль мою вернет,
И старый дуб, ручей, и грот?

Oh! qui me rendra, mon Adèle,
Et ma montagne et l'hirondelle?

Oh! qui me rendra ma Lucile,
La Dore et l'hirondelle agile?

Кто б нашей речью передал
Ту прелесть, что он воспевал?

Они отправлялись на лодочные прогулки по Ладоре, плавали, следовали изгибам любимой реки, старались подобрать к ее имени новые рифмы; они взбирались на вершину холма к черным развалинам «Шато Бриана», где стрижи все так же кружат вокруг его башни. Они ездили в Калугу, на местные воды, и посещали семейного дантиста. Ван, листая журнал, услышал, как в соседней комнате Ада вдруг вскрикнула и отчетливо сказала: «*чортъ*» – чего никогда себе прежде не позволяла. Они пили чай у соседки, графини де Пре, которая безуспешно пыталась продать им хрошую лошадь. На ярмарке в Ардисвилле им особенно понравились китайские акробаты, немецкий клоун и дюжая черкесская княжна, глотательница шпага, которая начала с фруктового ножа, затем перешла к усыпанному самоцветами кинжалу и под конец проглотила громадную салями вместе с бечевкой и прочим.

Они ласкали друг друга – чаще всего в долинах и лощинах.

Энергия двух наших подростков показалась бы ординарному физиологу совершенно ненормальной. Их неудержимое взаимное влечение становилось непереносимым, если в течение трех-четырех часов не бывало удовлетворено несколько раз – в тени или на солнце, на крыше или в погребе, все равно где. Несмотря на необычайную пылкость, Ван едва поспевал за своей белокожей маленькой *amorette* (местный французский жаргон). Их невоздержанность в телесных уладах граничила с безумием и могла бы сильно сократить эти юные жизни, если бы лето, казавшееся беспредельным разливом зеленого великолепия и свободы, не начало туманно указывать на возможность упадка и увядания, на умолкание своей колоратуры – последний курорт натуры, удачная аллитерация (когда бабочки и бутончики имитируют друг друга), на приближение первой паузы в конце августа, первого безмолвия в начале сентября. Сады и виноградники в тот год были особенно живописны; и Бена Райта рассчитали после того, как он позволил себе испустить ветры, отвозя Марину и м-ль Ларивьер домой с праздника Виноградного Урожая в Брантоме, вблизи Ладоры.

Что напоминает нам следующее. В каталоге Ардисовской библиотеки под шифром «Ехот Lubr» значился пышный альбом (известный Вану благодаря любезности мисс Вертоград), озаглавленный «Запретные шедевры: сто полотен из частной коллекции Нац. Гал. (спец. хран.), отпечатан для Е. К. В. Короля Виктора». Альбом содержал превосходно отснятое в цвете собрание того рода любострастной и нежной живописи, которую итальянские мастера позволяли себе создавать промеж нескончаемых благочестивых Воскресений Христовых в продол-

жение нескончаемо долгого и похотливого Ренессанса. В библиотеке имелась лишь карточка, а сам альбом был не то утерян, не то украден, или же спрятан на чердаке среди личных вещей дяди Ивана, порой довольно причудливых. Вану не удалось вспомнить автора памятной картины, но ему казалось, что она могла относиться к раннему периоду Микеланджело да Караваджо. Маслом, на необрамленном холсте, были изображены двое нагих проказников, мальчик и девочка, в увитом плющом или лозой гроте или возле небольшого водопада, увенчанного аркой зелени с листьями бронзового и темно-изумрудного оттенков, которые перемежались огромными кистями сквозистого винограда – и все тени и ясные отражения плодов и листвы волшебнo мешались с обнаженной жилковатой плотью.

Так или иначе (это, кажется, не более чем выражение-связка), однажды пополудни он ощутил себя перенесенным в этот запретный шедевр, когда все уехали в Брантом, а они с Адой загорали на краю Каскада в лиственной роще Ардис-Парка, и его нимфетка склонялась над ним и его жилистым желанием. Ее длинные прямые волосы, имевшие в тени однородный иссиня-черный колер, в геммолюбивых лучах солнца обнаруживали глубоких тонов каштаново-бурые оттенки, мешавшиеся с темно-янтарными долгими прядями, покрывавшими ее впалую щеку или грациозно рассекавшимися ее поднятым плечом цвета слоновой кости. Текстура, лоск и аромат этих караковых шелков, воспламенив его чувства в самом начале того рокового лета, продолжали возбуждать их, мощно и мучительно, еще долгое время после того, как его молодое волнение открыло в ней другие источники неизлечимого блаженства. В девяностo лет Ван вспоминал свое первое падение с лошади с едва ли не меньшим замиранием мысли, чем тот самый первый случай, когда она склонилась над ним и он завладел ее волосами. Они скользили по его ногам, щекотали в паху, струились на его трепещущий живот. Сквозь этот поток студент-искусствовед мог видеть вершинное достижение школы *trompe-l'oeil*, величественное, многоцветное, выступающее из темного фона, отлитое в профиль сгущением караваджемского света. Она ласкала его; она обвивала его: так व्यюнок все тесней и тесней оплетает колонну, впиваясь в ее шейку все слаще, а затем растворяя хватку в темно-алой сладости. Был виноградный лист, в котором гусеница бражника оставила серповидную проединку. Был знаменитый микролепидоптерист, исчерпавший запасы латинских и греческих названий и принявшийся создавать такие номенклатурные имена, как Мэрикисми, Адакисми, Охкисми. Она поцеловала его. Чья это кисть вступает теперь? Дразнящего Тициана? Опьяненного Пальма иль Веккьо? Нет, эта девочка могла быть кем угодно, но только не белокурой венецианкой. Быть может, Доссо Досси? Фавн, изнуренный Нимфой? Обессиленный Сатир? Не царапает ли тебе язык твой недавно запломбированный зуб? Он изранил меня. Ах, это шутка, моя цирковая черкешенка.

Миг спустя вступили голландские мастера: Девушка, входящая в заводь под маленьким водопадом, чтобы омыть свои локоны, и сопровождающая незабвенный жест их выжимания сжиманием губ, – тоже незабвенным.

А помнишь, башенка была,
Что «Мавровой» ты прозвала?

Ужель забыла ты, сестра,
Ладору, дуб, et cetera?

Дни шли своей счастливой чередой, пока м-ль Ларивьер не потянула поясицу, катаясь на карусели на Винодельческой ярмарке, посещение которой понадобилось ей, помимо про-

чего, для подбора декорации к задуманному рассказу (о провинциальном мэре, задушившем девочку по имени Рокетт): зная по опыту, что озноб вдохновения нигде не сберегается лучше, чем в *la chaleur du lit*, она решила слечь на целых пять дней. Предполагалось, что все это время за Люсеттой будет присматривать вторая горничная с верхних комнат, Франш, ни наружность, ни нрав которой не напоминали кротость и живую грацию Бланш; Люсетта же делала все возможное, чтобы избавиться от надзора ленивой служанки ради общества своего кузена и сестры. Грозные слова: «Что ж, если господин Ван разрешит тебе войти...» или «Конечно, я уверена, что мисс Ада не станет возражать, если ты отправишься с ней по грибы...» – звучали погребальным звоном по их любовной вольнице.

Покуда м-ль, уютно устроившись, описывала берег речки, где так любила резвиться малышка Рокетт, Ада сидела с книжкой на таком же берегу, время от времени мечтательно поглядывая в сторону манящих зарослей вечнозеленых кустов (нередко дававших приют нашим любовникам) и на босого, коричневого от солнца Вана в одних подвернутых саржевых штанах, искавшего свои ручные часики, которые, как ему казалось, он обронил среди незабудок (но которые, о чем он позабыл, Ада надела себе на руку). Люсетта, бросив скакалку, сидела на корточках у ручья и купала резиновую куклу, размером с человеческого зародыша. То и дело она выпускала забавный фонтанчик воды из дырочки, которую Ада, поддавшись дурному вкусу, провертела для нее в скользкой оранжево-красной игрушке. С неожиданным своеволием, которое порой выказывают неодушевленные предметы, кукла вывернулась из рук Люсетты и устремилась прочь, несомая потоком. Ван под ивой стянул штаны и вернул беглянку. Поразмыслив немного, Ада захлопнула книгу и сказала Люсетте, заморозить которую обычно не составляло труда, что она, Ада, вдруг почувствовала, как стремительно превращается в дракона, что чешуя ее зеленеет, что она уже *стала* драконом и что Люсетту нужно привязать к дереву скакалкой, дабы Ван мог спасти ее в последний миг. Девочка почему-то заупрямилась, но силы были неравны: Ван с Адой оставили взбешенную пленницу крепко привязанной к стволу ивы, после чего «вскачь», изображая стремительное бегство и погоню, устремились во мрак сосновой рощи, где исчезли на несколько сладостных минут. Извивавшейся Люсетте каким-то образом удалось сорвать одну из красных ручек скакалки, и она уже почти освободилась от пут, когда дракон и рыцарь теми же скачками вернулись к ней.

Девочка пожаловалась гувернантке, которая, совершенно неверно истолковав происшествие (что можно было сказать и по отношению к ее новому сочинению), пригласила Вана к себе и с отгороженной ширмой постели, от которой разлило жидкой мазью и потом, настоятельно попросила его не кружить Люсетте голову, делая из нее сказочную «деву в беде».

На другой день Ада сообщила матери, что Люсетте давно пора принять ванну и что она хотела бы ее выкупать, даже если гувернантка станет возражать. «Хорошо, – сказала Марина (она готовилась принять соседа и его протеже, молодого актера, в своем лучшем стиле Леди Марины), – но температура должна быть выдержана от начала и до конца и равняться в точности двадцати восьми градусам (как было заведено с восемнадцатого столетия), а кроме того, она должна выйти из ванны через десять – максимум двенадцать минут».

«Чудесная мысль», сказал Ван, помогая Аде нагреть бак, наполнить старую, потрескавшуюся ванну и согреть несколько полотенец.

Хотя Люсетте и шел всего девятый год и тело ее не отличалось развитостью, она не избегала той иллюзии половой зрелости, которая свойственна рыженьким девочкам: штриховка яркого пуха в подмышках и толстенький мысок, будто посыпанный медной пылью.

Водяной каземат ждал свою пленницу, и будильник обещал любовникам целую четверть часа.

«Пусть сначала намокнет как следует, намылишь ее после», сказал Ван, уже плохо владея собой.

«Да, да, да!» – крикнула Ада.

«А я – Ван», сказала Люсетта, стоя в ванне с куском багрового мыла между ног и выпячивая блестящий животик.

«Будешь так делать, станешь мальчишкой, – строго сказала Ада, – и тебе будет не до смеха».

Девочка начала опасливо погружать ягодицы в воду.

«Слишком горячая, – сказала она. – Ужас какая горячая!»

«Остынет, – ответила Ада. – Садись-ка и наслаждайся. Вот твоя кукла».

«Ну же, Ада, ради всего святого, оставим ее мокнуть», взмолился Ван.

«И помни, – прибавила Ада, – даже не вздумай выбраться из этой дивной теплой водички, пока не прозвенит будильник, – иначе умрешь, потому что так сказал Кролик. Я приду тебя намылить, но не зови меня: нам нужно пересчитать белье и разложить носовые платки Вана».

Заперев L-образную ванную комнату изнутри, двое старших детей укрылись в ее боковой части, в уголке между комодом и старым заброшенным катком для белья, где они были недостижимы для аквамаринового ока ванного зеркала; но едва они закончили в этом потайном закутке свое неистовое и неудобное соитие, сопровождавшееся идиотским звяканьем пустой лекарственной склянки на полке, как Люсетта звонко позвала их из своей купели и горничная постучала в дверь: м-ль Ларивьер тоже потребовалась горячая вода.

Они перепробовали все мыслимые уловки.

К примеру, однажды, когда Люсетта была особенно назойлива – из носу у нее текло, она поминутно дергала Вана за руку, хныкала, ходила за ним по пятам, ее обычное желание быть рядом с ним приобрело черты настоящей мании, – Ван со всей своей убедительностью, обаянием и красноречием сказал заговорщицким тоном:

«Взгляни-ка, моя милая. Вот эта коричневая книжка – одна из главных моих ценностей. Представь, в мою школьную куртку вшит для нее особый внутренний карман. Сколько раз мне приходилось драться с подлыми мальчишками, норовившими стащить ее у меня! Что же это за книга (благоговейно перелистывает страницы)? А это – собрание самых красивых и знаменитых стихотворений, когда-либо написанных по-английски. К примеру, вот это, совсем коротенькое, сорок лет тому назад сочинил, обливаясь слезами, поэт-лауреат Роберт Браун, пожилой господин, на которого мне однажды указал отец – стоящего высоко на вершине утеса, под кипарисом, недалеко от Ниццы, и глядящего вниз, на пенящийся бирюзовый прибой: незабываемое зрелище для всех. Стишок называется „Питер и Маргарет“. У тебя есть, скажем (поворачивается к Аде, делая вид, что этот вопрос требует совещания), сорок минут („Ах, дай ей час, она не может выучить даже 'Mironton, mirontaine'“), – ладно, пусть целый час, чтобы выучить эти восемь строк наизусть. Мы с тобой (шепотом) докажем твоей гадкой и заносчивой сестре, что глупышка Люсетта способная девочка. Если же (легонько касаясь губами ее стриженных волос), если же, душка моя, ты сможешь повторить их, поразив Аду тем, что не сделаешь ни единой ошибки – будь внимательна с „там – тут – здесь“ и со всеми прочими мелочами, – *если* ты сможешь сделать это, я отдам тебе эту многоценную книгу навсегда» («Пусть лучше выучит другое, где речь идет о том, чтобы найти перо и увидеть самого павлина-Пиккока, – сухо сказала Ада. – Оно посложнее будет»). – «Нет-нет, мы уже остановились на этой маленькой балладе. Отлично. Теперь иди туда (открывает дверь) и не выходи, пока я не позову. В противном случае ты лишишься награды, о чем будешь жалеть всю жизнь».

«Ах, Ван, какой ты милый», сказала Люсетта, медленно отступая в свою комнату и озадаченно разглядывая необыкновенный форзац книги, с его именем, его смелым росчерком и замечательным рисунком чернилами – черная астра (развитая его воображением клякса), дорическая колонна (маскирующая значительно более непристойную форму), искусно изображенное безлиственное дерево (видимое из классного окна) и несколько мальчишеских профилей: Чеширкота, Зогопса, Чудобедра и самого Вана, похожего на Аду.

Ван поспешил за Адой на чердак. В ту минуту он очень гордился своей уловкой. Ему суждено будет вспомнить о ней с пронзительной дрожью, охватывающей предсказателя, когда семнадцать лет спустя, в последней записке Люсетты, посланной «на всякий случай» из Парижа на его кингстонский адрес 2 июня 1901 года, он прочитает следующее:

«Я берегла ее многие годы – она до сих пор, должно быть, лежит на полке в моей ардисовской детской, – ту антологию, которую ты подарил мне. А стихотворенье, которое ты выбрал, чтобы я выучила его наизусть, все так же в точности хранится в безопасном месте моего спутанного сознания, где носильщики топчут мои вещи и опрокидывают ящики и голоса зовут: пора, пора! Отыщи его у Брауна и расхвали меня снова, смышленную восьмилетнюю Люсетту, как ты и счастливая Ада сделали в тот далекий день, который все так же позвякивает где-то на своей полке, как пустой флакон.

А теперь сравни.

Проводник сказал: „Здесь пашня,
А там, – он сказал, – был лес.
Тут Питер стоял несчастный,
А принцесса стояла здесь“.

„Ну нет, – визитер ответил, —
Призрак – *ты*, старый гид:
Пусть нет ни овсов, ни ветел,
Но *она* со мной рядом стоит“».

24

Ван сожалел о том, что из-за запрета по всему миру Эльлюзии (старый каламбур Ванвители!), само название которой в наивысших кругах общества (в британском и бразильском представлении), к коим принадлежали Вины и Дурмановы, считалось «бранным» словом и заменялось разными причудливыми масками, да и то лишь в отношении важнейших устройств – телефонов, двигателей – каких еще? – ох, целого ряда вещей, обладать которыми простолюдины жаждут с таким остервенением и за которыми носятся быстрее гончих, едва успевая переводить дух (ибо это довольно длинное предложение), – такая безделица, как пленочный магнитофон, любимая игрушка его и Ады уважаемых пращуров (в гареме князя Земского, состоявшего из одних школьниц, к каждой кровати прилагалась эта вещица), более не производилась, разве только в Татарии, где выпускались «*минирачи*» («говорящие минареты»), секрет устройства которых хранился за семью печатями. Если бы общественная мораль и гражданский закон позволили нашим начитанным любовникам чувствительным пинком привести в рабочее состояние таинственный ящик, найденный ими как-то на волшебном чердаке, они могли бы записать на пленку (чтобы воспроизвести восемьдесят лет спустя) не только арии Джорджио Ванвители, но и беседы Вана Вина с возлюбленной. Вот, к примеру, что они могли бы нынче прослушать – с удовольствием, смущением, сожалением, изумлением.

(Рассказчик: в тот летний день, вскоре после начала поцелуйной стадии их слишком раннего и во многих отношениях рокового романа, Ван и Ада направились в Оружейный Павильон *alias Туръ*, где они на верхнем ярусе нашли тесную комнату в восточном стиле, с тусклыми стеклянными шкафчиками, в которых, судя по форме темных отметин на выцветшем бархате, когда-то хранились пистолеты и кинжалы – приятный и меланхоличный альков, довольно затх-

лый, с мягким сиденьем на подоконнике и чучелом Парлужского сыча на стенной полке, рядом с пустой пивной бутылкой, оставленной каким-то давним, уже покойным садовником: под исчезнувшей пивоваренной маркой значилось: 1842.)

«Не бренчи ключами, – сказала Ада, – за нами следит Люсетта, которую я однажды задушу».

Они прошли через рощу и миновали грот.

Ада сказала: «Официально мы с тобой двоюродные по матери, а двоюродные могут жениться только по особому дозволению, *при условии*, что они согласятся стерилизовать первых своих пятерых детей. Но мало того, свекор моей матери был братом твоего деда. Верно?»

«Так мне рассказывали», безмятежно ответил Ван.

«Недостаточно дальние, – задумчиво сказала она, – или все же достаточно?»

«До ста точно, согласен».

«Забавно: прежде чем ты облек эту строчку в оранжевые буквы, я увидела ее в маленьких фиолетовых литерах – за миг до того, как ты сказал. Сказал – зал – залп. Вроде того, как видишь клуб дыма и следом слышишь выстрел далекой пушки».

«Физически, – продолжала она, – мы скорее близнецы, чем кузен и кузина, а близнецам или даже единокровным жениться, конечно, нельзя, иначе их упекут в темницу и „перевоспитают“, если не смирятся».

«Если только, – сказал Ван, – они не будут признаны двоюродными по особому указу».

(Ван уже отпирал дверь – зеленую дверь, в которую они потом так часто станут колотить бескостными кулаками в своих отдельных снах.)

В другой раз, на велосипедной прогулке (с несколькими остановками) по лесным тропам и проселочным дорогам, вскоре после ночи Горящего Амбара, но до того, как им попался на чердаке гербарий и они нашли подтверждение своим предчувствиям – смутным, странным, скорее телесным, чем душевным, – Ван между прочим заметил, что родился в Швейцарии и в детстве дважды побывал за границей. А я только однажды, сказала она. Почти каждое лето она проводила в Ардисе, каждую зиму – в их городском доме в Калуге – два верхних этажа в бывшем чертоге Земского.

В 1880 году десятилетний Ван в сопровождении отца, его красавицы-секретарши, ее восемнадцатилетней сестры в белых перчатках (отчасти исполнявшей обязанности английской гувернантки Вана и его вечерней ублажительницы) и своего невинного ангелоподобного русского наставника Андрея Андреевича Аксакова («ААА») путешествовал на серебристых поездах, оборудованных ванными комнатами, к беззаботным курортам Луизианы и Невады. Он помнил, как ААА втолковывал чернокожему мальчику, с которым Ван подрался, что в жилах Пушкина и Дюма текла негритянская кровь, и как мальчуган, дослушав, показал ААА язык – такой жест был Вану в новинку, и он не лишил себя удовольствия повторить его при первой возможности, за что младшая из двух мисс Форчен шлепнула его по лицу: спрячьте и закройте рот, сэр, сказала она. Он помнил еще, как подпоясанный кушаком голландец в холле отеля сказал кому-то, что отец Вана, который проходил мимо, насвистывая один из трех своих мотивов, известный «кортежник» (предводитель кортежей – не путает ли он теннисный *корт* со званым ужином? Ах, нет – «картежник»!).

До начала занятий в школе-пансионе Ван каждую зиму (кроме тех лет, когда он ездил за границу) проводил в прелестном, выстроенном во флорентийском стиле отцовском доме (Парк-лейн, 5, Манхэттен), стоявшем между двух пустующих участков (вскоре по обе стороны возвысились два гигантских стража, готовых схватить его за оба крыла и снести прочь). Летние сезоны, которые он проводил в Радужке (Малой Радуге), «другом Ардисе», были намного прохладнее и скучнее, чем здесь, в *этом*, Адином Ардисе. В каком-то году, должно быть в 1878-м, он прожил там всю зиму и целое лето.

Ну конечно, еще бы, ведь именно тогда, вспоминала Ада, она его впервые и увидела. В белой матроске и в синей бескозырке. («Un régulier ангелочек», прокомментировал Ван на радужском жаргоне.) Ему было восемь, а ей шесть. Дядя Дан вдруг надумал навестить старое имение. В последнюю минуту, игнорируя протесты мужа, Марина решила присоединиться к нему и посадила – оп-ля – Адочку, вместе с ее обручем, подле себя в коляске. Ехали поездом, продолжала она нащупывать прошлое, из Ладоги в Радугу, поскольку она помнит, как вокзальный служащий со свистком на шее проходил по платформе мимо вагонов местного состава, захлопывая дверь за дверью (по шесть в каждом вагоне), представлявшим собой шесть сцепленных однооконных карет тыквенного вида. Ван предположил, что это «башня во мгле» (как она называла всякое приятное воспоминание), – а потом по подножкам каждого вагона ходил кондуктор, от начала и до конца поезда, тоже уже идущего, снова открывал все двери, раздавая, пробивая, собирая билеты, и, сляпывая палец, отсчитывал сдачу, та еще работенка, но все же «лиловая башня». А до самой Радужки доехали на чем же? На автошарабане с откидным верхом? Десять миль, не меньше, полагала она. Десять верст, поправил Ван. Она согласилась. Его, кажется, не было в доме, ушел на прогулку в темный ельник со своим гувернером Аксакowym и Багровым-внуком, соседским парнишкой, которого Ван дразнил и цукал и ужасно изводил насмешками – славный, кроткий мальчик, тихо истреблявший кротов и другую покрытую мехом живность, очевидно, что-то патологическое. Когда же они прибыли, сразу стало ясно, что Демон не ожидал увидеть дам. Он сидел на террасе, смакуя гольдвейн (сладкий виски) вместе с удочеренной им, как он сказал, сироткой – ирландская дикая роза, прелесть, – в которой Марина мгновенно узнала наглую посудомойку, недолго служившую в Ардис-Холле и соблазненную неизвестным господином – оказавшимся теперь даже слишком хорошо известным. В то время дядя Дан, подражая кузену, строил из себя бонвивана и носил монокль, его-то он и всадил себе в глаз, чтобы осмотреть Розу, которую ему, вполне возможно, тоже обещали (здесь Ван перебил собеседницу, сказав, чтобы она следила за своим лексиконом). Званный вечер прошел хуже некуда. Сиротка томно сняла свои жемчужные серьги, которые Марина пожелала оценить. Из будуара приковылял заспанный Багров-дед и принял Марину за *grande cocotte*, как разъяренная дама поняла некоторое время спустя, когда ей представился случай накинуться на бедного Данилу. Отказавшись остаться на ночь, Марина покинула дом и кликнула Аду, которая, отправленная «поиграть в саду», занималась тем, что, считая и бормоча, оставляла стянутым у Розы губным карандашом кровавые отметины на белых стволах высаженных рядом молодых берез – готовилась к игре, не могла сейчас вспомнить, к какой именно – вот незадача, сказал Ван, – когда мать схватила ее в охапку и в том же наемном шарабане, бросив Дана – со всеми потрошками и грешками, вставил Ван, – умчалась обратно в Ардис, куда добралась к рассвету. Но перед тем, как мать схватила ее за руку и отняла карандаш (Марина швырнула его в кусты «к чертям собачьим», и это напомнило терьера Розы, все норовившего овладеть Данилиной ногой), случай одарил ее очаровательным видением маленького Вана, идущего к дому вместе с другим милым мальчиком и светлородым Аксакowym в белой блузе, и, конечно, она забыла свой обруч, – нет, он остался в автомобиле. Ван, однако, не сохранил ни малейшего воспоминания об этом визите – ни даже о том лете, – поскольку жизнь его отца, во всяком случае, всегда была розарием, а его самого не раз ласкали нежные ручки, без перчаток, до чего, впрочем, Аде нет никакого дела.

А теперь вспомним 1881 год, когда девочки девяти и пяти лет соответственно отправились на швейцарскую Ривьеру, к итальянским озерам. Вместе с Мариной и ее конфидантом, театральным воротилой Гран Д. дю Монтон («Д» означало еще и Дюк – девичья фамилия его матери, *des hobereaux irlandais, quoi*), они без лишней помпы садились на ближайший Средиземноморский экспресс, или Симплонский экспресс, или ближайший Восточный, или все равно какой *train de luxe*, готовый принять трех Винов, английскую гувернантку, русскую няньку и двух служанок, в то время как полуразведенный Данила уехал куда-то в Экватори-

альную Африку фотографировать тигров (к своему удивлению, он ни одного так и не увидел) и других пресловутых диких животных, приученных выходить на дорогу к проезжающим автомобилям, да еще пышных негритяночек в изысканном доме одного коммивояжера где-то в дебрях Мозамбика. Разумеется, Ада, играя с сестрой в «сравнение впечатлений», намного лучше Люсетты помнила такие вещи, как маршруты, живописная флора, моды, крытые торговые галереи со всевозможными лавками и магазинами, красивого загорелого мужчину с черными усами, глазевшего на нее из своего угла в ресторане женевского «Манхэттен-Палас»; зато Люсетта, хотя и была совсем крошкой, сохранила уйму разных мелочей, «часовенки» и «чашечки», *бирюльки проилаго*. Она являла собой, *cette Lucette*, как и девочка в «Ah, *cette Line*» (популярный роман), «смесь пронительности, глупости, простодушия и хитрости». Кстати, о хитрости. Она призналась, Ада *заставила* ее признаться, что (как Ван и предполагал) все было наоборот, что когда они вернулись к «бедствующей деве», она так извивалась не для того, чтобы освободиться, а, напротив, чтобы снова связать себя, и к тому времени уже успела, сбросив путы, подглядеть за ними в хвойной чаще. «Господь милосердный, – сказал Ван, – вот почему она именно так держала мыло!» Ох, да какое это имеет значение, кому какое дело, Ада лишь надеется, что когда бедняжка подрастет, она будет так же счастлива, как сейчас счастлива Ада, любовь моя, любовь моя, любовь моя, любовь моя. Ван в свою очередь надеялся, что брошенные в кустах велосипеды не привлекут своими блестящими за листвою частями каких-нибудь случайных путников на лесной дороге.

После того они попытались выяснить, не пересекались ли где-нибудь, не пролегли ли, быть может, очень близко друг к другу маршруты их поездок в тот год в Европе? Весной 1881 года одиннадцатилетний Ван прожил несколько месяцев вместе со своим русским учителем и английским слугой на вилле своей бабушки под Ниццей, пока Демон проводил время на Кубе – намного веселей, чем Дан в Мокубе. В июне Вана увезли во Флоренцию, Рим и на Капри, куда его отец неожиданно-негаданно примчался для короткой передышки. Они вновь разлучились – Демон морем отбыл обратно в Америку, Ван же с учителем направился сперва в Гардоне на озере Гарда (там Аксаков благоговейно показал ему мраморные отпечатки подошв Гёте и д'Аннунцио), а затем, уже осенью, – в отель на склоне горы над озером Леман (по этим склонам бродили Карамзин и граф Толстой). Могла ли Марина предполагать, что весь 1881 год Ван провел в тех же краях, что и она? Едва ли. Пока она со своим грандом путешествовала по Испании, девочки в Каннах слегли со scarlatine. Тщательно сопоставив свои воспоминания, Ван и Ада заключили, что могли проехать друг мимо друга по одной из петлистых дорог Ривьеры в тех наемных викториях, которые обоим запомнились зелеными, с лошадьми в зеленой же упряжке, или, быть может, могли оказаться в двух разных поездках, следующих, как знать, в одном направлении – девочка, прильнувшая к окну своего вагона и глядящая на коричневый спальный вагон другого, вровень идущего поезда, медленно начинающего отклоняться к серебристым отрезкам моря, которые мальчик мог видеть с другой стороны железнодорожной колеи. Вероятность была слишком мала, чтобы стать романтической, да и возможность того, что они могли пройти или пробежать друг мимо друга по набережной швейцарского городка, не вызвала определенных эмоций. Но когда Ван случайно направил луч ретроспективного прожектора на тот лабиринт прошлого, где узкие зеркальные проходы не только сворачивали в разных направлениях, но еще имели разные уровни (как запряженная мулом телега проезжает под аркой виадука, по которому мчит автомобиль), он обнаружил, что занимается (еще неосознанно и праздно) той наукой, которая захватит его в зрелые годы, – проблемами пространства и времени, пространства против времени, искривленного временем пространства, пространства как времени, времени как пространства – и пространства, отторгнутого от времени в конечном трагическом триумфе человеческой мысли: умираю, следовательно, существую.

«Но вот *это*, – воскликнула Ада, – это несомненно, это реальность, вот она, данность без примесей – этот лес, этот мох, твоя рука, божья коровка у меня на ноге, ведь это не может быть

отнято, правда? (Может, и было отнято.) Все это сошлось *здесь*, как бы ни петляли тропинки и как бы ни путали друг дружку и ни терялись – они неотвратно сходятся *здесь*!»

«Нам пора отыскать велосипеды, – сказал Ван, – мы заплутали „в другой части леса“».

«Ах, давай еще повременим, – воскликнула она, – ах, постой!»

«Но я должен выяснить наше место и времянахождение, – сказал Ван. – По философской нужде».

Начинало смеркаться; последние яркие лучи солнца мешкали на западной окраине облачного неба: всем нам случалось видеть человека, который, радостно поздоровавшись с приятелем, переходит улицу со все еще блуждающей улыбкой на лице – сходящей под взглядом прохожего, не ведающего ее причины и способного принять ее за косой отсвет безумия. Разделавшись с этой метафорой, Ван с Адой решили, что и впрямь пора домой. Когда проезжали через Гамлет, вид русского трактира пробудил в них такой зверский голод, что они немедленно спешили и вошли в темную и тесную избу. Ямщик, пивший чай из блюдца, поднося его к чмокающим губам своей широкой лапой, явился пряником из бараночной связки старых романов. Кроме него в душном срубе была лишь баба в платке, уговаривающая пострела в красной рубашке, болтавшего ногами, приступить к уху. Она оказалась трактирщицей и встала, «вытирая руки о передник», чтобы принести Аде (которую тут же узнала) и Вану (которого приняла, не ошибившись, за «молодого человека» юной барыни) горку маленьких русских «гамбургеров», называемых «биточками». Каждый из них умял по полдюжине, после чего они выкатили из жасминовых кустов велосипеды и поспешили дальше. Пришлось зажечь карбидные фонари. Последнюю остановку они сделали перед тем, как въехать в сумрак Ардис-Парка.

По своего рода лирическому совпадению они нашли Марину и м-ль Ларивьер за вечерним чаем на редко посещаемой, русского типа остекленной веранде. Писательница, уже совсем оправившаяся от недомогания, но все еще в цветастом неглиже, только что – по первой чистой рукописи, которую завтра собиралась перестукать на машинке, – прочитала потягивавшей токайское Марине свой новый рассказ. Охваченная *le vin triste* Марина была сильно потрясена самоубийством господина «*au cou rouge et puissant de veuf encore plein de sève*», который, испугавшись, так сказать, испуга своей жертвы, слишком сильно сжал горло девочки, изнасилованной им в минуту «*gloutonnerie impardonnable*».

Ван выпил стакан молока, и его вдруг охватила такая сладкая истома, что он пожелал немедленно лечь спать. «*Tant pis*, – сказала ненасытная Ада, жадно беря *кэксъ*. – Гамак?» – осведомилась она, но шатающийся Ван покачал головой и, поцеловав печальную руку Марины, удалился.

«*Tant pis*», повторила Ада и с несокрушимым аппетитом принялась обмазывать маслом шероховатую, цвета яичного желтка, поверхность толстого куска кекса, щедро нашпигованного изюмом, дягилем, засахаренной вишней и цедратом.

С ужасом и отвращением наблюдавшая за Адой м-ль Ларивьер заметила:

«*Je rêve. Il n'est pas possible qu'on mette du beurre pardessus toute cette pâte britannique, masse indigeste et immonde*».

«*Et ce n'est que la première tranche*», ответила Ада.

«Не хочешь ли посыпать корицей *lait caillé*? – спросила Марина. – Знаете, Белль (поворачиваясь к м-ль Ларивьер), когда она была малюткой, то звала это „песочком по снегу“».

«Она никогда не была малюткой, – убежденно сказала Белль. – Она могла сломать хребет своей лошадке еще до того, как научилась ходить».

«Любопытно, – спросила Марина, – сколько же верст вы проехали, что наш атлет так изнемог?»

«Всего-то семь», ответила Ада, жуя и улыбаясь.

Солнечным сентябрьским утром, с еще зелеными деревьями, но с уже заросшими астрами и блошницей канавами и котловинами, Ван уезжал в Ладугу, Северная Америка, где должен был провести две недели с отцом и тремя наставниками перед возвращением в школу, в холодную Лугу, штат Майн.

Он поцеловал Люсетту в обе ямочки, потом в шейку и подмигнул чопорной Ларивьерше, которая посмотрела на Марину.

Пора! Его провожали: Марина в *шлафрокъ*, Люсетта, ласкавшая (в качестве замены) Дака, м-ль Ларивьер, еще не знающая, что Ван не взял с собой книгу, которую она надписала и подарила ему накануне, и два десятка щедро пожалованных слуг (среди которых мы заметили кухонного Кима с камерой), – собственно, все домашние, кроме Бланш, у которой разболелась голова, и обязательной Ады, заранее попросившей извинения, поскольку обещала навестить одного немощного крестьянина (у нее золотое сердце, у этого ребенка, воистину, – с такой охотой и так прозорливо отмечала Марина).

Черный сундук, черный чемодан и пудовые черные гантели Вана поместили на заднее сиденье семейного автомобиля; Бутейан надел капитанскую фуражку, великоватую для него, и виноградно-синие защитные очки; «*remouvez votre зад, я поведу*», сказал Ван – и лето 1884 года закончилось.

«*She rolls sweetly, sir* (ход у нее безупречно плавный, сэр), – заметил Бутейан на своем причудливом старомодном английском. – *Tous les pneus sont neufs*, – продолжил он по-французски, – но, увы, на дороге много камней, а молодость предпочитает быструю езду. Мосье следует быть осторожным. Не знают удержу пустынные ветра. *Tel un lis sauvage confiant au désert* —»

«Совсем как слуга из старой комедии, не правда ли?» – холодно перебил его Ван.

«*Non, Monsieur*, – ответил Бутейан, придерживая фуражку. – *Non. Tout simplement j'aime bien Monsieur et sa demoiselle*».

«Если ты говоришь о малютке Бланш, – сказал Ван, – то тебе следует цитировать Делиля не мне, а своему сынку, который того и гляди ее обрюхатит».

Старый француз косо взглянул на Вана, *пожевалъ губами*, но промолчал.

«Остановлюсь здесь ненадолго, – сказал Ван, когда они доехали до Лесной Развилки, сразу за Ардисом. – Хочу собрать грибов для отца, которому я непременно (Бутейан сделал движение – очерк вежливого жеста) передам твой поклон. Этим ручным тормозом – да чтоб его – пользовались еще до того, как Людовик Шестнадцатый перебрался в Англию».

«Требуется смазки, – сказал Бутейан и поглядел на часы. – Да, у нас вдоволь времени, чтобы поспеть на девять ноль четыре».

Ван углубился в густой подлесок. На нем была шелковая рубашка, бархатный жакет, черные бриджи, сапоги для верховой езды (позвякивали звезды шпор), – и едва ли этот наряд можно было назвать подходящим для того, чтобы *уцфрѣДицЖ ыйхйм пицчА* и *щотъояинтъЁ хиййо, цфйзе* к Аде в естественном осиновом будуаре; *срл цихЖурицД*, после чего она сказала:

«Так не забудь. Здесь формула нашей переписки. Выучи ее наизусть, после чего проглоти, как хороший маленький шпион».

«*Poste restante* в оба конца, и я хочу получать не меньше трех писем в неделю, моя бледнокожая любовь».

Впервые он видел ее в этом искристом платье, почти столь же тонком, как ночная сорочка. Ада заплела волосы в косу, и он сказал, что она похожа на молодую сопрано Марию Кузнецову в сцене письма из оперы Чайкова «Онегин и Ольга».

Ада, изо всех своих девичьих сил старавшаяся сдержать и отвести рыдания, превращая их во взволнованные восклицания, указала на какое-то проклятое насекомое, севшее на ствол осины.

(Проклятое? *Проклятое?* То была только что описанная, невиданная и редчайшая ванесса *Nymphalis danaus* Nab., оранжево-бурая, с черно-белыми передними кончиками крыльев, мимикрирующая, как установил ее открыватель, профессор Набонид из Вавилонского колледжа в Небраске, не под саму бабочку «монарх», а под нее *через* ленточника – *Limenitis archippus*, – одного из самых известных имитаторов монарха. Адиной гневной рукой.)

«Завтра придешь сюда со своей зеленой сеткой, – с горечью сказал Ван, – бабочка моя».

Она целовала его лицо, она целовала его руки, после чего снова – губы, веки, его мягкие черные волосы. Он целовал ее лодыжки, колени, ее мягкие черные волосы.

«Когда, любовь моя, когда снова? В Луге, Калуге, Ладогe? Когда, где?»

«Не это главное, – воскликнул Ван, – главное, главное, главное другое – будешь ли ты верна, будешь ли ты верна мне?»

«Ты плюешься, милый, – сказала она, тускло улыбаясь и вытирая все „в“ и „б“. – Не знаю. Я обожаю тебя. Я никогда в жизни никого не полюблю так, как полюбила тебя, никогда и нигде, ни на этом свете, ни на том, ни в Ладоре, ни на Терре, куда, говорят, отлетают наши души. Но! Но, любовь моя, мой Ван, я плотская, ужасно плотская, я не знаю, я откровенна с тобой, *qu’у puis-je?* Ах, любимый, не спрашивай, одна девочка в школе без ума от меня, сама не знаю, что несу —»

«Девчонки не в счет, – сказал Ван, – но пусть только кто-нибудь мужского пола дотронется до тебя – я убью его. Ночью я пытался сочинить для тебя стихи об этом, но я не поэт; начинается, есть только начало, так: „Сады наши, Ада, отрада...“ – остальное в тумане, постараюсь вообразить остальное».

Они обнялись в последний раз, и он быстро ушел, не оглядываясь.

Спотыкаясь о дыни, яростно сбивая стеком головки высоких заносчивых фенхелей, Ван вернулся к Лесной Развилке. Мурио, его лучший вороной жеребец, которого держал молодой Мур, ждал Вана на том месте, где он его оставил. Ван одарил грума пригоршней золотых стелл и галопом поскакал прочь; его перчатки были мокры от слез.

26

Для своей переписки в эту первую разлуку они придумали шифр, который продолжали совершенствовать последующие пятнадцать месяцев после отъезда Вана из Ардиса. Им предстояло провести вдаль друг от друга почти четыре года («наша черная радуга» – так называла это время Ада) – с сентября 1884 по июнь 1888, – с двумя короткими интерлюдиями невыносимого блаженства (в августе 1885 и июне 1886) и двумя случайными встречами («сквозь решетку дождя»). Описывать шифры – прескучное занятие, и все же несколько основных положений придется нехотя изложить.

Однобуквенные слова не изменялись. В любом более длинном слове каждая буква заменялась той, которая в азбуке следует за ней – второй, третьей, четвертой и т. д., в зависимости от числа букв в данном слове. Так, слово «люблю», состоящее из пяти букв, превращалось в «рГёрГ» («р» – пятая после «л», «Г» – пятая после «ю» и т. д.); большая буква означала, что алфавит исчерпан и отсчет продолжен с начала: после «ю» в алфавите остается лишь одна буква – яАБВГ. Во время чтения популярных книг о происхождении вселенной (которые беззаботно начинаются с элементарных, нарочито-непринужденных пассажей) наступает ужасный миг, когда страница вдруг зарастает математическими формулами, немедленно застилающими разум читателя. Мы не станем заходить так далеко. Даже самому неискушенному читателю стоит лишь чуть более внимательно и чуть менее предвзято перечитать описание ключа к

шифру наших любовников («наших» может стать источником нового раздражения, но не стоит сетовать по этому поводу), как он, хочется верить, уяснит себе это «перетекание» в следующую азбучную серию.

К сожалению, возникли осложнения. Ада предложила ввести следующие улучшения: начинать каждое письмо на зашифрованном французском, затем, после первого слова из двух букв, переходить на зашифрованный английский, вновь переключаться на французский после слова из трех букв, и еще перенастраивать челнок разными иными способами. Благодаря этим нововведениям читать послания стало даже труднее, чем писать, особенно потому, что корреспонденты в порывах нежной страсти делали вставки, вымарывали целые строки, перефразировали свои уточнения и неверно восстанавливали удаления, допуская в орфографии и в самой кодировке ошибки, вызванные как их противоборством с несказанным горем, так и чрезмерной замысловатостью используемой тайнописи.

Во время второй разлуки, начавшейся в 1886 году, шифр был полностью изменен. Ван и Ада все еще помнили назубок семьдесят две строчки марвелловского «Сада» и сорок строк «Памяти» Рембо. Из этих двух сочинений они и стали брать буквы для нужных им слов. К примеру, «с2. 11 с1. 2. 20. с2. 8» означало «love» («любовь»), где «с» и идущее за ней число определяло строку в стихотворении Марвелла, а следующее число указывало на место буквы в этой строке: «с2. 11» – «одиннадцатая буква во второй строке». Полагаю, что здесь нет ничего сложного; если же ради пушей конспирации они прибегали к стихотворению Рембо, указующая на строку буква становилась заглавной. Все это, повторю, скучно излагать и может быть занято лишь тому, кто надеется (боюсь, напрасно) отыскать в приведенных примерах ошибку.

Как бы там ни было, второй код очень скоро обнаружил еще более серьезные изъяны, чем первый. Конспирация требовала, чтобы они не держали стихотворений ни в напечатанном, ни в переписанном виде, и какой бы изумительной силой ни отличалась их память, ошибки неизбежно множились.

На протяжении всего 1886 года они писали друг другу так же часто, как и раньше, не менее одного письма в неделю, но, как ни странно, в их третью разлуку, с января 1887 по июнь 1888 (после очень длинного между-международного дорофонного разговора и очень короткого свидания), их переписка стала оскудевать, сократившись до ничтожных двадцати посланий от Ады (за всю весну 1888 года она отправила всего два или три письма) и примерно вдвое большего числа писем от Вана. Никаких извлечений из этой корреспонденции мы привести не можем, поскольку она была полностью уничтожена в 1889 году.

(Предлагаю совсем исключить эту коротенькую главу. Замечание Ады.)

27

«Марина отзывается о тебе с восторгом и прибавляет: уже чувствуется осень. Как это по-русски. Бабка твоя тоже повторяла эти слова каждый год, в это же время, даже если стоял самый жаркий день на вилле „Армина“: Марина так и не поняла, что это анаграмма моря, а не ее имени. Ты выглядишь замечательно, сынок мой, но могу себе представить, как тебе опостылело общество двух ее девочек. А посему хочу тебе предложить —»

«Ах, что ты, они мне ужасно понравились, – проговорил Ван, – особенно милашка Люсетта».

«Предложить тебе сегодня же составить мне компанию на коктейльной вечеринке. Прием устраивает очаровательная вдова некоего майора де Пре, состоявшего в туманном родстве с нашим покойным соседом, хороший стрелок, но ужасный свет в Бостонском парке, да еще тот неотвязный мусорщик завопил в самый неподходящий момент. Так вот, у этой очаровательной и влиятельной дамы, любезно взявшейся посодествовать одной моей подруге (прочистает

горло), есть, как я слышал, пятнадцатилетняя дочь Кордула, которая наверняка вознаградит тебя за то, что ты целое лето играл в жмурки с детьми из Ардисского Леса».

«Мы играли главным образом в „Скрэббл“ да в карты, – сказал Ван. – А эта твоя подруга, которой оказывают содействие, тоже моих лет?»

«Она – юная Дузе, – сурово ответил Демон, – а вечеринка – это строго „деловые смотрины“. Ты обхаживаешь Кордулу де Пре, а я – Корделию О’Лири».

«D’accord», сказал Ван.

Мать Кордулы, перезрелая, перекрашенная и перехваленная комедийная актриса, представила Вана турецкому акробату с золотистыми волосками на красивых орангутанговых руках и месмерическим взором шарлатана, каковым он вовсе не был, будучи великим артистом на своем опасном поприще. Ван был так поглощен беседой с ним, наставлениями, которыми он щедро одарил жадно внимавшего мальчика, завистью, честолюбивыми мечтами, восхищением и другими юношескими чувствами, что у него почти не осталось времени ни на Кордулу, круглолицую, маленькую, плотного сложения девушку в темно-красном шерстяном свитере с высоким воротом, ни даже на сногшибательную молодую леди, голой спины которой его отец легко касался, подводя свою актрисочку то к одному, то к другому полезному гостю. Но вышло так, что тем же вечером Ван столкнулся с Кордулой в книжной лавке, и она сказала: «Кстати, Ван, – я ведь могу тебя так называть, правда? – мы с твоей кузиной Адой однокашницы. О да. А теперь объясни мне, пожалуйста, что ты сделал с нашей норовистой Адой? В первом же своем письме из Ардиса она буквально захлебывалась от восторга – это наша Ада-то! – расписывая такого милого, умного, оригинального, неотразимого —»

«Глупая девочка. Когда это она расписывала?»

«В июне, кажется. Она потом еще раз написала, но ее ответ – потому что я, знаешь ли, здорово ее приревновала к тебе – еще как! – и забросала вопросами, – в общем, ответ был уклончивым и практически не упоминал тебя».

Он более внимательно, чем в первый раз, взглянул на нее. Ван где-то читал (мы можем вспомнить, где именно, если постараемся, не Тильтиль, это из «Синей бороды»...), что мужчина может распознать лезбиянку, молодую и одинокую (поскольку пожилая пара в мужском платье никого не способна обмануть), по сочетанию трех характерных черт: слегка дрожащие руки, насморочный голос и это паническое опускание глаз, если вам случится с явным одобрением оглядеть те ее прелести, которые обстоятельства принудили ее выставить напоказ (красивые плечи, к примеру). Ни в чем таком (ах да – «Mytilène, petite île» Луи Пьера), казалось, нельзя было уличить Кордулу, облаченную в «гарботош» (макинтош с пояском) поверх ужасно безвкусного свитера и глубоко засунувшую руки в карманы, с вызовом глядя на него. Стриженные волосы имели нейтральный оттенок между сухой соломой и мокрой. Светло-голубые глаза ничем не отличались от миллионов таких же глаз блеклых представителей семейств французской Эстотии. Ее рот становился кукольно-милым, когда она осознанно надувала губки, отчего на лице у нее появлялись складки, называемые портретистами «серпиками» – в лучшем случае продолговатые ямочки, а в худшем – продольные морщины на обветренных щеках молодых торговек яблоками в валенках. Когда же ее рот приоткрывался, как сейчас, то обнажались зубы в металлических скобах, о которых она, впрочем, сразу вспоминала, вновь соединяя губы в ту же гримасу.

«Моя кузина Ада, – сказал Ван, – девочка лет одиннадцати или двенадцати, еще слишком мала, чтобы влюбляться в кого бы то ни было, кроме героев романов. Да, я тоже нахожу ее милой. Немного синий чулок, возможно, и в то же время дерзкая и капризная, но, да, милая».

«Воображаю», проговорила Кордула с такой тонкой задумчивой интонацией, что Ван не мог бы сказать, желает ли она закрыть тему, оставить ее приоткрытой, или открыть новую.

«Как я могу снестись с тобой? – спросил он. – Не хочешь ли приехать в Риверлейн? Ты девственница?»

«Я не хожу на свидания с хулиганами, – спокойно ответила она, – но ты всегда можешь „снестись“ со мной через Аду. Хотя мы с ней и в разных классах, и не только в прямом смысле слова (смеется), она – маленький гений, а я – обычная американская девочка-амбиверт, мы записаны в одну группу – повышенной сложности – по изучению французского, и потому у нас общий дортюар, так что дюжина блондинок, три брюнетки и одна рыжая девочка, la Rousse, могут шептаться по-французски даже во сне» (одиноко смеется).

«Превесело. Отлично, спасибо. Из четного числа девочек следует, что кровати двухъярусные. Что ж, мы с тобой еще встретимся, как говорят хулиганы».

В следующем своем шифрованном послании Ван поинтересовался у Ады, не зовут ли, часом, ту лезбияночку, о которой она упомянула с таким излишним чувством вины, Кордулой? Я бы скорее приревновал тебя к твоей собственной ладошке, – прибавил он. Ада ответила: «Что за вздор, оставь в покое эту, как там ее зовут»; но даже тогда, еще не зная, как отчаянно Ада может лгать, прикрывая сообщника, Ван не избавился от своих сомнений.

Правила в ее школе царили старомодные и суровые до идиотизма, но они ностальгически напоминали Марине тот русский институт благородных девиц в Юконске, в котором она нарушала их намного легче и успешнее, чем Ада и Кордула или Грейс в Браунхилле. Свидания девочек с мальчиками дозволялись три-четыре раза за семестр во время унылых чаепитий с розовыми пирожными в гостиной директрисы; тем школьницам, которые достигли двенадцати-тринадцати лет, каждое третье воскресенье разрешалось встречаться с отпрысками благородных семейств в сертифицированном молочном баре, всего в нескольких кварталах от школы и под присмотром старшей девочки безупречных моральных принципов.

Ван собрался с духом и решился повидать Аду, надеясь взмахом своей волшебной палочки превратить приставленную к ней молодую товарку в ложку или в плошку. Требовалось, кроме того, чтобы мать жертвы по меньшей мере за две недели одобрила «свидание». Школьная директриса, сочногласая мисс Клефт, позвонила Марине, которая сказала, что Ада едва ли нуждается в компаньонке для встречи со своим кузеном, который сам все лето сопровождал ее всюду дни напролет.

«В том-то и дело! – возразила мисс Клефт. – Гуляющие вдвоем и такие юные особенно склонны к сближению, а где бутончик, там и шип».

«Да они, в сущности, брат и сестра!» – воскликнула Марина, полагавшая, как многие недалекие люди, что выражение «в сущности» действует в обоих направлениях – снижает истинность утверждения и придает трюизму видимость истины.

«Что лишь усиливает наши опасения, – проникновенно ответила педагогиня. – Впрочем, я согласна на компромисс и попрошу дорогушу Кордулу де Пре сопровождать Аду: она возторгается Иваном и обожает Аду – следовательно, только украсит торт розочкой». (Избитое выражение, избитое уже тогда.)

«Батюшки, что за фигли-мигли», сказала Марина, повесив трубку.

В мрачном расположении духа, не зная, чего ожидать (стратегическое предвиденье помогло бы вынести испытание), Ван подждал Аду в безотрадном переулке на задах школы, где в лужах отражалось серое небо и ограда хоккейной площадки. Чуть поодаль, у ворот, стоял такой же ждущий юноша – разодетый в пух и прах местный старшекласник.

Ван уже было повернулся, чтобы уйти обратно на станцию, когда появилась Ада – с Кордулой. La bonne surprise! Он набросился на них с отвратительным показным радушием («Как ты жива-здорова, милая кузина! О, Кордула! Кто же из вас двоих в роли дуэньи, ты или мисс Вин?»). Милая кузина надела блестящий черный плащ и непромокаемую шляпу с опущенными полями, будто готовилась спасать кого-то от жизненных или морских напастей. Крохотный кусочек пластыря не полностью скрывал прыщик сбоку на подбородке. Ее дыхание отдавало эфиром. Она была еще мрачнее Вана. Он весело предположил, что сейчас польет. И дождь полил – как из ведра. Кордула сказала, что его «трэнч» очень элегантен. Нет, не стоит возвра-

щаться за зонтиками, добавила она, их заветная цель в двух шагах, только угол обогнуть. Ван сказал, что углы несгибаемы – угловатая острота, но сойдет. Кордула рассмеялась. Ада хранила молчание: выживших, по-видимому, не оказалось.

В молочном баре яблоку негде было упасть, и потому они решили прогуляться под Аркадами к станционному кафе. Он сознавал (но ничего не мог изменить), что всю ночь будет сожалеть о своем намеренном невнимании к тому обстоятельству – главнейшему, мучительнейшему обстоятельству, – что он не видел свою Аду почти три месяца и что последняя ее записка пылала такой страстью, от которой лопнула криптографическая оболочка, обнажив дерзкую, божественную строчку незашифрованной любви в ее бедном маленьком послании обещания и надежды. Они держали себя так, будто только что познакомились, как если бы это было всего лишь свидание «вслепую», устроенное их компаньонкой. Станные, злобные мысли пронеслись у него в голове. Как именно – не потому, чтобы это было важно, но на карту были поставлены его гордость и любопытство, – как именно они это делали, две эти неопрятные девчонки, – в прошлом семестре, в этом семестре, прошлой ночью, каждой ночью, в одних своих пижамках (без штанишек), среди шепотов и стонов их ненормального дортуара? Спросить? Сможет ли он найти верные слова, чтобы не ранить Аду, но в то же время дать понять ее коечной сучке, как он презирает ее за то, что она смеет распалять это дитя, такое темноволосое и бледное, гладкое и ладное, длинноногое и покорное, хнычущее на тающей вершине? Когда он увидел, как они идут к нему: невзрачная, страдающая морской болезнью, но исполняющая свой долг Ада и насквозь порочная, но отважная Кордула – вроде двух закованных в кандалы пленниц, которых ведут к завоевателю, – он дал себе слово отомстить за обман, рассказав, в приличных, но мельчайших подробностях, о последнем гомосексуальном, или, вернее, псевдогомосексуальном скандале в его школе (старшеклассника, кузена Кордулы, накрыли вместе с девицей, переодетой мальчиком, в комнате эклектичного старосты). Вот бы он поглядел, как они вздрогнут, вот бы потребовал от *них* рассказать взамен что-нибудь в таком духе. Но это желание угасло; он все еще надеялся избавиться хотя бы на минуту от занудной Кордулы и сказать тусклой Аде какое-нибудь хлесткое и обидное слово, чтобы у нее из глаз брызнули яркие слезы. Но к этому подталкивало его *amour-propre*, а не *sale amour* двух девочек. Он так и умрет со старым каламбуром на устах. И почему «грязная»? Испытывал ли он прустовские терзания? Нисколько. Напротив, представляя себе, как они ласкают друг друга, он ощущал уколы извращенного удовольствия. Перед его внутренним взором налитых кровью глаз Ада дублировалась и обогащалась, раздвоенная сплетением, отдавая то, что отдавал он, и беря то, что взял он: Корада, Адула. Его пронзила мысль: до чего же маленькая коренастая графинюшка похожа на его первую шлюшку, и от этого зуд только усилился.

Они говорили о занятиях и учителях, и Ван сказал: «Мне любопытно знать ваше мнение, Ада и Кордула, по следующему литературному вопросу. Наш профессор французской литературы утверждает, что во всей трактовке любовной связи Марселя и Альбертины имеется серьезный философский, а значит, и художественный изъян. В ней есть смысл лишь при условии, что читатель *знает*, что рассказчик уранист и что гладкие толстые щеки Альбертины – это гладкие толстые ягодицы Альберта. Но в истории нет никакого проку, если нельзя ожидать и требовать от читателя, чтобы он, желая в полной мере насладиться произведением искусства, *хотя бы в общих чертах* был осведомлен о постельных предпочтениях автора книги. Мой учитель полагает, что если читатель ничего не знает об извращении Пруста, подробное описание мучений гетеросексуального мужчины, ревниво следящего за гомосексуальной женщиной, покажется ему смехотворным, поскольку нормального мужчину могли бы только позабавить и даже обрадовать сапфические шалости его возлюбленной. Профессор заключает, что роман, который может оценить лишь *quelque petite blanchisseuse*, разобравшая грязное белье автора, с точки зрения искусства провален».

«Ада, о чем это он толкует? О каком-то итальянском фильме, который он посмотрел?»

«Ван, – устало сказала Ада, – тебе невдомек, что в нашей школе класс глубокого изучения французского углубился в него не далее Ракана и Расина».

«Оставим это», сказал Ван.

«Но *ты* перебрал Марселя», проворчала Ада.

На вокзале имелаась полуприватная чайная, которой заведовала жена станционного смотрителя – под идиотским покровительством школы. В зале было пусто, только стройная и высокая дама в черном бархате и живописной, тоже черной и бархатной, широкополой шляпе сидела спиной к ним у «тоник-бара». Она так и не повернула головы в их сторону, но у Вана мелькнула мысль, что это, должно быть, тулузская кокотка. Наша промокшая троица заняла уютный угловой столик, с обычным в таких случаях вздохом облегчения расстегнув плащи. Он надеялся, что Ада снимет штормовую шляпу, но она не сняла, потому что остригла волосы, потому что у нее были ужасные мигрени, потому что не хотела, чтобы он видел ее в роли умирающего Ромео.

(*On fait son grand Joyce*, сделав своего *petit Proust*. Адиной милой рукой.)

(Но читай дальше, это же чистый В. В. Обрати внимание на эту даму! Корявым почерком Вана – писано в постели на бюваре.)

Когда Ада потянулась за сливками, он поймал и внимательно осмотрел ее руку, притворившуюся мертвой. Нам памятна траурница, на мгновение севшая к нам на ладонь, плотно сложив крылья, и вдруг исчезнувшая. Он с удовлетворением отметил, что ногти ее теперь длинны и остры.

«Не слишком ли они остры, дорогая?», спросил он, намекая на дуру Кордулу, которой следовало бы уйти в уборную – несбыточная мечта.

«Нет, а что?»

«Ты ведь, – продолжил он, не в силах остановиться, – не царапаешь малышей, когда гладишь их? Взгляни-ка на руку твоей подружки (берет ее), посмотри на эти изящные короткие ноготки (невинно-холодная покорная лапка!). Такими не поцарапать и самый тонкий атлас, не правда ли, Ардула, то есть Кордула?»

Обе захихикали, и Кордула чмокнула Аду в щечку. Ван не знал, какой реакции он ожидал, но этот простецкий поцелуй его обезоружил и разочаровал. Нарастающий стук колес заглушил шум дождя. Он взглянул на свои ручные часы, перевел взгляд на часы стенные. Сказал, что ему жаль, но это его поезд.

«Будет тебе, – писала Ада (ее письмо приводится в пересказе) в ответ на его униженные извинения. – Мы просто решили, что ты был пьян; но я никогда больше не приглашу тебя в Браунхилл, любовь моя».

28

1880 год (Аква все еще была жива – как-то, где-то!) стал годом высшего расцвета его способностей и восприимчивости за всю его долгую, слишком долгую, всегда недостаточно долгую жизнь. Ему было десять лет. Демон в то время жил на Западе, многоцветные горы которого действовали на Вана так же, как на всякого гениального русского ребенка. Менее чем за двадцать минут он мог решить задачу эйлеровского типа или выучить стихотворение Пушкина «Всадник без головы». Часами лежа в лиловой тени розовых скал рядом с восторженно потевшим, одетым в белую блузу Андреем Андреевичем, он штудировал крупных и мелких русских писателей и распутывал преувеличенные, но, в общем, скорее лестные аллюзии на полеты и похождения его отца в другой жизни, которыми были полны отчетливые, как грань алмаза, четырехстопники Лермонтова. Он сдерживал слезы, когда ААА, высмаркивая свой красный нос картошкой, показывал ему глиняный отпечаток по-крестьянски босой ноги Толстого, сохраненный во дворе мотеля в штате Юта, где граф сочинил повесть о Мюрате,

вожде племени навахо и побочном сыне французского генерала, застреленном Корой Де в его собственном бассейне. Ах, какое сопрано было у этой Кору! Демон водил сына на представления всемирно известного оперного театра в Теллуриде (Западное Колорадо), где Ван с удовольствием (а иногда с отвращением) смотрел величайшие в мире спектакли – английские пьесы нерифмованным пятистопным ямбом, французские трагедии в рифмованных двустопных, громовые германские музыкальные драмы с великанами, колдунами и белой испражняющейся лошастью. Он переболел множеством разных страстишек – домашними фокусами, шахматами, боксерскими поединками в сверхлегком весе (на ярмарках), вольтижировкой и, конечно, теми незабвенными, слишком ранними инициациями, когда его прелестная английская гувернантка умело ласкала его между молочным коктейлем и отходом ко сну – в одной нижней юбке, совсем еще юная, с маленькими грудками, полуодетая для какой-то вечеринки с сестрой, Демоном и мистером Планкеттом, компаньоном Демона в его скитаниях по игорным домам, его тело- и ангелом-хранителем, наставником и советником, к тому времени бросившим свое опасное ремесло.

В прошлом, когда его лихая жизнь была ключом, мистер Планкетт был одним из величайших *шулеровъ*, вежливо именуемых в Англии, а равно и в Америке «карточными магами». В возрасте сорока лет, в разгар игры в дро-покер, у него как-то из-за сердечной недостаточности случился обморок (позволивший, увы, грязным лапам неудачника обшарить его карманы); несколько лет он провел в тюрьме, обратился к католицизму своих праотцов и, выйдя на свободу, без большого рвения занялся миссионерской деятельностью, написал пособие для начинающих иллюзионистов, вел колонки бриджа в нескольких газетах и оказывал услуги по части сыска (двое его дюжих сыновей служили в полиции). Нещадность лютого времени и кое-какие хирургические поправки, внесенные в его суровые черты, сделали серое лицо мистера Планкетта если не более привлекательным, то хотя бы менее узнаваемым – для всех, кроме двух-трех старых подельников, которые, впрочем, стали избегать его жутковатого общества. Этот выдавший виды человек завораживал Вана даже сильнее Кинга Винга, сам же грубый, но добродушный мистер Планкетт не смог устоять перед юношеской увлеченностью (нам всем нравится нравиться) и обучил Вана нескольким приемам своего искусства, ставшего в силу обстоятельств чистым и отвлеченным, и потому подлинным. Мистер Планкетт полагал, что использование механических средств, зеркал и пошлых «рукавов с пружинками» неизбежно ведет к разоблачению, точно так же, как применение студней, миткаля, резиновых рук и всего такого прочего пятнает и укорачивает карьеру профессионального медиума. Он объяснил Вану, *что* нужно искать, когда подозреваешь мошенника, отвлекающего внимание всякими яркими штуками (таких дилетантов, нередко состоящих членами всяких фешенебельных клубов, профессионалы называют «гирляндами» или «светлячками»). Мистер Планкетт верил исключительно в ловкость рук: потайные карманы, конечно, удобны, но их могут вывернуть наружу. Главное – это «чувство» карты, вкрадчивость ее утайки, деликатность пальпации, иллюзорная тасовка, умение незаметно обобрать колоду, вынести из нее нужную карту и предопределить исход игры. А все это достигается исключительно тренировкой пальцев, мгновенный перебор которых может буквально растворить или, напротив, материализовать джокера или превратить две пары в каре королей. Одно неперемное условие при использовании дополнительной колоды, если не удалось заранее сдать нужные карты, – точное запоминание сброшенных игроками карт. Несколько месяцев Ван упражнялся в карточных трюках, но затем увлекся другими забавами. Он был из тех учеников, кто схватывает на лету и потом хранит снабженные ярлыками склянки в прохладном месте.

В 1885 году, окончив школу, он поступил в Чузский университет в Англии, в котором учились его предки. Время от времени он ездил в Лондон или Люту – как процветающие, но не слишком утонченные британские переселенцы называли этот очаровательный и печальный жемчужно-серый город на другой стороне Ла-Манша.

Как-то зимой 1886/87 года, в уныло-промозглом Чузе, играя в покер с двумя французами и своим однокашником, которого назовем Диком, в изысканно обставленных апартаментах последнего в Сиренити-Корт, Ван заметил, что близнецы-французы проигрывают не столько потому, что безмятежно и безнадежно пьяны, сколько оттого, что *милорд* оказался тем самым «кристальным кретином», как таких называл мистер Планкетт, – человеком множества зеркал, небольших отражающих поверхностей, разной формы и по-разному направленных, сдержанно мерцавших на часах или перстне, скрытых, как самки светляков в подлеске, на ножках стола, внутри манжеты или лацкана, и на гранях пепельниц, взаимозависимое положение которых Дик время от времени менял с нарочитой небрежностью, – любой знаток карточного дела сказал бы, что все это было так же глупо, как и избыточно.

Выждав некоторое время и проиграв несколько тысяч, Ван решил вспомнить кое-какие старые уроки. В игре наступил перерыв. Дик поднялся из-за стола и отошел в угол комнаты, к переговорной трубке, распорядиться, чтобы принесли еще вина. Несчастные близнецы, подсчитывая сумму проигрыша, превысившего потери Вана, передавали друг другу автоматическую ручку, большим пальцем щелкая кнопкой при каждом катастрофическом переходе. Ван опустил колоду в карман и тоже встал, поводя своими могучими затекшими плечами.

«Скажи-ка, Дик, – спросил он, – не знал ли ты в Штатах игрока по имени Планкетт? Когда мы с ним были знакомы, он был плешивым седым малым».

«Планкетт? Планкетт? Должно быть, играл до меня. Не тот ли, который стал священником или вроде того? А почему ты спрашиваешь?»

«Один из приятелей моего отца. Великий артист».

«Артист? Художник, что ли?»

«Да, художник. И я художник. Полагаю, что ты и *себя* считаешь художником. Многие так думают».

«Что значит художник?»

«Нелегальная обсерватория», быстро ответил Ван.

«Что-то из нового романа», сказал Дик, бросая папиросу после нескольких жадных затяжек.

«Из Вана Вина», сказал Ван Вин.

Дик вернулся к столу. Вошел слуга с вином. Ван укрылся в уборной, где принялся «колдовать над колодой», как старина Планкетт называл это занятие. Ван вспомнил, что в последний раз занимался карточной магией, когда показывал некоторые трюки Демону, не одобрявшему их покерный уклон. Ах да, после того был еще случай, в клинике, когда он умиротворял одного спятившего фокусника, помешавшегося на идее некой связи земного притяжения с кровообращением Вседержителя.

Ван был настолько же уверен в своем мастерстве, насколько и в глупости милорда, он сомневался лишь в том, что сможет продержаться на должном уровне от начала и до конца. Ему было жаль Дика, который был не только жуликом-любителем, но и простодушным изнеженным пшютом с одутловатым лицом и пухлым телом – такого свалишь с ног одной левой. Простак рассказывал всем подряд, что если родители и дальше будут отказываться платить по его (громадным и банальным) долгам, он уедет в Австралию, чтобы там наделать новых, да еще в дороге подмахнет несколько фальшивых чеков.

Теперь же, *constatait avec plaisir* своим жертвам Дик, всего несколько сотен фунтов отделяют его от спасительной гавани – той минимальной суммы, которая была нужна ему, чтобы умиловить самого грозного из кредиторов. Говоря все это, он с безоглядной поспешностью продолжал обирать несчастных Жана и Жака, пока не обнаружил у себя на руках трех настоящих тузов, любовно сданных ему Ваном (ловко собравшим себе четыре девятки). Затем последовал недурной блеф против еще лучшего, и мукам безнадежно мерцавшего лорда, принявшего от щедрого Вана хорошие, но недостаточно хорошие карты, наступил внезапный конец

(лондонские портные заламывали руки в тумане, а неумолимый ростовщик, знаменитый Сен-При Чузский, просил аудиенции у отца Дика): после самой ожесточенной торговли из когда-либо виденных Ваном, Жак вскрыл свою жалкую карту (couleur, как он назвал ее шепотом умирающего), и стрейт-флеш Дика проиграл рояль-флешу его истязателя.

Ван, до этой минуты без большого труда скрывавший свои деликатные манипуляции от дурацких линз Дика, теперь с удовольствием заметил, что тот успел углядеть второго джокера в ладони своего противника, мелькнувшего, когда Ван собрал со стола и прижал к груди «костяную радугу» – Планкетт был сущим поэтом. Близнецы повязали галстуки, надели сюртуки и сказали, что им пора уходить.

«И мне пора, Дик, – сказал Ван. – Жаль, что ты так понадеялся на свои хрустальные шары. Я все думаю, отчего русское слово для таких, как ты, – кажется, у нас есть общий русский предок, – то же, что и „школьник“ по-немецки, только без умляута». Говоря так, Ван протянул восторженно остоленевшим французам наспех выписанный чек, полностью возмещавший их проигрыш. Затем он зачерпнул в горсть карты и фишки и швырнул их Дикю в лицо. Снаряды еще не достигли цели, как он уже пожалел о своем жестоком и пошлом «красивом жесте», поскольку бедняга ничем не мог на него ответить и просто сидел, прикрыв один глаз и рассматривая другим, тоже слегка кровоточащим, свои треснувшие очки, в то время как французские близнецы с двух сторон совали ему носовые платки, от которых он добродушно отмахивался. Розовая заря дрожала в зеленом Сиренити-Корт. Трудолюбивый старик Чуз.

(Здесь должен быть знак, означающий рукоплескания. Приписка рукой Ады.)

Ван корил себя весь остаток утра и, не спеша приняв горячую ванну (лучшая на свете советчица, подсказчица и вдохновительница – после, разумеется, сиденья клозета), решил письменно принести извинения обмишуленному шулеру. Когда он одевался, посыльный принес ему записку от лорда Ч. (последний приходился двоюродным братом одному из соучеников Вана по Риверлейну): великодушный Дик предлагал в погашение своего долга устроить Вану членство в клубе «Вилла Венус», в котором состоял весь его клан. О таком царском подарке не мог бы мечтать ни один восемнадцатилетний юнец. То был билет в рай. Ван недолго поборолся со своей несколько неповоротливой совестью (оба ухмылялись, как давние приятели в своем старом гимнастическом зале) и принял это предложение.

(Полагаю, Ван, тебе следует пояснить, почему ты, самый гордый и чистый из людей – я не говорю о презренной плоти, в этом отношении мы все устроены одинаково, – но как ты, брезгливый Ван, мог принять предложение мошенника, который, без сомнения, продолжил «мерцать и поблескивать» после того фиаско? Полагаю, ты должен объяснить, *primo*, что ты был сильно переутомлен работой, и, *secundo*, что ты не мог смириться с мыслью, что этот негодяй знает, что он негодяй, что дуэль исключена и что ты, так сказать, в безопасности. Верно? Ван, ты слышишь меня? Я думаю —)

После той ночи Дик «мерцал» недолго. Лет пять-шесть спустя, в Монте-Карло, Ван проходил мимо тротуарного кафе, и кто-то схватил его за локоть: сияющий, румяный, сравнительно респектабельный Дик Ч. наклонился к нему через петунии решетчатой балюстрады.

«Ван, – вскричал он, – я покончил со всей той зеркальной пакостью, поздравь меня! Слушай: единственный безопасный способ, это крапáть! Погоди, это еще не все. Представь, что придумали: наносить микроскопическую – то есть именно микроскопическую – крупицу эвфориона, бесценный металл, под ноготь большого пальца: невооруженным глазом ты ничего не увидишь, но один малый сектор твоего монокля сделан таким образом, что многократно увеличивает каплю, который ты, словно давя блох, наносишь карта за картой, как они идут в игре. Что за прелесть: ни приготовлений, ни реквизита, ничего! Метишь себе и метишь!» – все еще восклицал старина Дик в спину уходящему Вану.

В середине июля 1886 года, пока Ван выигрывал турнир по настольному теннису на борту роскошного лайнера (теперь ему требуется целая неделя, чтобы дойти в своем белоснежном достоинстве из Дувра до Манхэттена!), Марину, обеих ее дочерей, их гувернантку и двух горничных на разных железнодорожных станциях по пути из Лос-Анджелеса в Ладору более или менее одновременно трясла русская *инфлюенца*. В посланной из Чикаго гидрограмме, ожидавшей Вана в доме его отца 21 июля (день ее дорогого рождения!), сообщалось: «дадаист нетерпелив пациент прибудет между двадцать четвертым и двадцать седьмым позвони дорис возможна встреча привет окрестность».

«Что мучительно напомнило те „голубянки“ (petits bleus), которые Аква посылала мне, – со вздохом заметил Демон, машинально вскрыв послание. – А что, эта нежная окрестность – какая-нибудь девушка, которую я знаю? Нет? Потому что, сколько ни сверли меня взглядом, это *не* похоже на послание одного доктора другому».

Ван поднял глаза к потолку малой столовой, расписанному Буше, и, покачав головой в ироничном восхищении, отозвался на Демонову пронизательность. Да, все верно. Ему немедленно придется уехать в Тверп (анаграмма слова «привет», следишь?), городок в другой стороне от Кодорги (следишь?), чтобы посетить одну сумасшедшую молодую художницу по имени Дорис, не то Одрис, у которой на картинах только лошадки да богатые пожилые поклонники.

Под фальшивым именем (Буше) Ван снял комнату в единственном трактире убогой деревни Малагар, стоящей на берегу Ладоры в тридцати верстах от Ардиса. Ночь он провел, сражаясь с прославленным москитом или его cousin, жаждавшим Вановой крови намного сильнее ардисовских тварей. Отхожее место в доме представляло собой черную дыру со следами фекальных эксплозий между двух гигантских подошв раскорячившегося овцевода. 25 июля в семь часов утра он дорофонировал в Ардис-Холл из малагарского почтового отделения, и его соединили с Бутом, который в этот момент соединился с Бланш и принял Вана за дворецкого.

«Чорт, па, – огрызнулся он в дорофон у кровати, – я занят!»

«Мне нужна Бланш, идиот», рявкнул Ван.

«Oh, pardon, – воскликнул Бут, – un moment, Monsieur».

Послышался звук вынимаемой пробки (пьют рейнвейн в семь утра!), и Бланш взяла трубку, но едва Ван принялся передавать для кухни тщательно составленное сообщение, как сама Адушка, проводшая всю ночь настороже, ответила ему из детской, где под сломанным барометром дрожал и журчал самый ясный аппарат в доме.

«Через сорок пять минут на Лесной Развилке, – сказал Ван. – Прости, что плююсь».

«Башня!» – отозвался ее милый звонкий голос – так авиатор из небесной синевы отвечает: «Есть!»

Он оседлал взятый напрокат мотоцикл, маститую машину с обтянутым билльярдным сукном сиденьем и вычурным рулем, украшенным поддельным перламутром, и помчал, подскакивая на древесных корнях, по узкой «лесной стезе». Сначала он увидел звезду отражателя ее брошенного велосипеда, а затем и ее: сложив руки, она стояла рядом с велосипедом, оглядываясь в оцепенении застенчивости – черноволосый белокожий ангел в одном купальном халатике и ночных туфлях. Неся ее на руках в ближайшую чашу, он чувствовал жар ее тела, но понял, как сильно ее лихорадит лишь после двух неистовых спазмов, когда она поднялась, вся в мелких бурых муравьях, и побрела в сторону, шатаясь и спотыкаясь, по-английски бормоча, что цыгане («джипсис») угоняют их джипы.

Гадкое, но прекрасное свидание. Он не мог вспомнить —
(Верно, я тоже не могу. Ада.)

– ни единого сказанного ею слова, ни одного вопроса или ответа. Закатив поглубже в заросли ее велосипед, он мигом доставил ее к дому, настолько близко, насколько отважился, а когда вечером вновь позвонил Бланш, та драматично прошептала, что у *Mademoiselle une belle pneumonie, mon pauvre Monsieur*.

Три дня спустя ей стало намного лучше, но Вану пришлось вернуться в Манхэттен, чтобы сесть на тот же корабль и отплыть в Англию, а оттуда оправиться в цирковое турне вместе с людьми, которых он не мог подвести.

Его провожал отец. Демон выкрасил волосы в наичернейший черный цвет. На пальце у него гранями Кавказского хребта сияло алмазное кольцо. Его длинные, черные, в лазурных пятнышках крылья волочились за ним и мелко дрожали в океанском бризе. Люди оглядывались. Случайная Тамара – сурьмой подведенные глаза, Казбекский румянец и фламинговое боа – никак не могла решить, что больше придется по душе ее демоническому любовнику: если она просто будет вздыхать и не станет обращать внимания на его красавца-сына или же, напротив, оценит синебородую мужественность, отраженную в мрачном Ване, которого мутило от ее кавказских духов «*Granial Maza*», семь долларов флакон.

(Знаешь, Ван, эта глава пока что моя самая любимая, не знаю почему, но она мне страшно нравится. Ты даже можешь оставить свою Бланш в объятиях ее молодого любовника, даже это не имеет значения. Нежнейшим из почерков Ады.)

30

5 февраля 1887 года «Пустослов» («*The Ranter*», обыкновенно столь саркастичный и придиричивый чуждый еженедельник) поместил на первой странице неподписанную статью, в которой охарактеризовал выступление Маскодагамы как «совершенно потрясающий и единственный в своем роде трюк, когда-либо показанный пресыщенной публике мюзик-холлов». Выступление повторилось несколько раз в Ранта-ривер Клубе, но ни в программе, ни в рекламных объявлениях ничто, кроме определения «Иностранный эксцентрик», не указывало ни на характер «трюка», ни на личность исполнителя. Осмотрительно и умело пущенные друзьями Маскодагамы слухи склоняли к мысли, что он – таинственный гость из-за Золотого Занавеса; эта версия казалась тем более убедительной, что именно тогда (то есть накануне Крымской войны) не менее полудюжины артистов прибывшего из Татарики большого «Цирка Доброй Воли» – три танцовщицы, старый больной клоун со своим старым говорящим козлом и муж одной из танцовщиц, гример (двойной или тройной агент, вне всяких сомнений), – где-то между Францией и Англией, в недавно построенном «Чаннеле», запросили политическое убежище. Грандиозный успех Маскодагамы в театральном клубе, репертуар которого обыкновенно ограничивался елизаветинскими пьесами с королевами и феями в исполнении хорошеньких мальчиков, прежде всего вдохновил карикатуристов: деканы, местные политики, государственные мужи различных наций и, само собой, тогдашний правитель Золотой Орды изображались злободневными юмористами Маскодагамами. В Оксфорде (женский колледж неподалеку) местные буяны освистали гротескного подражателя, которым на самом деле был настоящий Маскодагама, показавший слишком замысловатую пародию на собственное выступление. Один пронырливый репортер, ухитрившийся подслушать, как он чертыхнулся из-за складки на ковре сцены, написал в газете, что «то был говор янки». Многоуважаемый господин «Васкодагама» получил приглашение в Виндзорский замок от самого его владельца (имевшего общих с Ваном предков как по мужской, так и по женской линиям), но отклонил его, заподозрив (безосновательно, как выяснилось позднее) в допущенной опечатке намек на то, что его инкогнито раскрыто одним из чуждых сыщиков – быть может, тем же самым, который недавно спас психиатра П. О. Темкина от кинжала кн. Потемкина, неуравновешенного юнца из Севастополя, штат Айдахо.

Во время своих первых летних вакаций Ван работал под руководством Темкина в знаменитой чужской клинике над амбициозной, но оставшейся незавершенной диссертацией «Терра: Реальность Отшельника или Коллективная Греза?». Он проинтервьюировал множество невротиков, среди прочих – артистов варьете, писателей и по меньшей мере трех интеллектуально блестящих, но духовно «потерянных» космологов, то ли состоявших в телепатическом сговоре (они никогда не встречались и даже не знали о существовании друг друга), то ли действительно открывших (неведомо как и где, быть может, с помощью своего рода запрещенных «волн») зеленую планету, которая вращается в пространстве и спирально кружит во времени, которая в терминах материи-и-разума совсем как наша и которую они описывали с одинаковыми характерными подробностями, как три человека, наблюдающие из трех разных окон уличное карнавальное шествие.

Свой досуг он посвящал буйным кутежам.

Как-то в августе известный лондонский театр предложил ему контракт на серию дневных и вечерних выступлений во время рождественских каникул, да еще по спектаклю каждый уик-энд в течение всего зимнего сезона. Он охотно согласился, поскольку остро нуждался в действенном отвлечении от своих опасных занятий: в той особого рода прилипчивой мании, которой страдали пациенты Темкина, таилось что-то такое, против чего молодые исследователи были беззащитны.

Слава Маскодагамы не могла не достичь американского захолустья: в самом начале 1888 года газеты Ладоры, Ладogi, Лагуны, Лугано и Луги перепечатали снимок знаменитости, правда, лицо закрывала маска, но она не могла обмануть ни любящего родственника, ни преданного слугу. Сопровождавший снимок репортаж, однако, не был воспроизведен: лишь поэт, и только поэт («в особенности принадлежащий к группе Черной Часовни», как выразился один острослов) мог бы подобающим образом передать тот макаберный трепет, которым был отмечен поразительный номер Вана.

Поднялся занавес, но сцена оставалась пустой; затем, после пяти медленных сердечных ударов театрального напряжения, под аккомпанемент глухих барабанов дервишей что-то громадное и черное вылетело из-за кулис. Его мощное и стремительное появление так глубоко потрясло детей в зале, что долго еще после этого, во тьме горьких бессонниц, в ослеплении жестоких кошмаров, впечатлительные мальчики и девочки переживали и помнили, каждый по-своему, что-то вроде «первобытного ужаса», бесформенное зло, свист безымянных крыл, невыносимо шириющийся бред огневицы, веющий пещерным сквозняком со страшной сцены. На залитое резким светом, устланное кричаще-яркими коврами пространство бегом ворвался великан в маске, добрых восьми футов росту, твердо ступая мягкими кожаными сапогами, в каких пляшут казаки. Широкий мохнатый черный плащ, напоминающий бурку, окутывал его *silhouette inquiétante* (как описала его корреспондентка из Сорбонны: все эти вырезки мы сохранили) от шеи до колен – или того, что казалось этими частями его тела. На голове у него была каракулевая папаха. Черная маска скрывала верхнюю часть его густо заросшего бородой лица. Противный исполин некоторое время важно прохаживался по сцене, затем он начал беспокойно семенить, как запертый в клетке безумец, после чего побегжка перешла в кружение на месте и вдруг, под звон оркестровых тарелок и крик ужаса (вероятно, поддельного) с галерки, Маскодагама перевернулся в воздухе и встал на голову.

В этой нелепой и жутковатой позе, с папахой в виде подкладки для ложноножки, он подпрыгивал на месте, как на «кузнечике», и вдруг распался на части. Мокрое от пота лицо Вана ухмылялось между голенищами сапог, все еще надетых на его вытянутые вверх руки. В тот же миг его настоящие ноги сбили на пол и футбольным ударом отправили в сторону фальшивую голову вместе с измятой папахой и бородатой маской. Волшебная инверсия «исторгла у публики стон изумления», за которым последовали «бешеные» («оглушительные», «громовые»,

«поистине ураганные») аплодисменты. Одним прыжком он исчез за сценой, через секунду вернулся, теперь уже в черном трико, и принялся отплясывать джигу на руках.

Мы уделяем описанию его трюка так много места не только оттого, что артистов варьете, выступающих в «эксцентрическом жанре», забывают особенно скоро, но еще и оттого, что нам любопытно проанализировать его щекочущую нервы притягательность. Ни поразительный перехват мяча на крикетной площадке, ни великолепный гол, забитый на футбольном поле (в двух этих славных играх Ван выступал за сборную колледжа), ни более ранние триумфы силы, когда он, в первый же день в Риверлейне, ударом кулака сбил с ног самого здорового из школьных задира, не доставили Вану того наслаждения, какое испытал Маскодагама. Оно не имело прямого отношения к горячему дыханию удовлетворенного честолюбия, хотя, будучи уже очень старым человеком и оглядываясь назад, на жизнь, полную неоцененных усилий, Ван с веселым удовольствием, даже еще большим, чем во дни Маскодагамы, вновь переживал банальную славу и пошлую зависть, которые недолго сопутствовали ему в юности. Позднее, в решении самому себе поставленных, экстравагантно-сложных и на первый взгляд абсурдных задач, когда В. В. стремился выразить нечто, что до своего выражения имело лишь сумеречное бытие или даже вовсе ничего не имело, кроме иллюзии обратной тени своего неизбежного выражения, он испытывал, в сущности, удовольствие того же рода, поскольку природа их была общей. Как карточный домик Ады. Как перевернутая с ног на голову метафора – не ради трудности самого трюка, а чтобы увидеть восходящий водопад или обратное движение солнца: восторжествовать, в некотором смысле, над ардисом времени. И потому восторг молодого Маскодагамы, вызванный преодолением гравитации, был сродни восторгу художественного откровения – в том смысле, какой совершенно и естественно недоступен всем этим невинным газетным обозревателям, сатирикам-общественникам, торговцам лежалыми идеями, моралистам и им подобным. Фигура Вана на сцене проделывала то же, что позднее станут проделывать фигуры его речи – чудеса акробатики, о которых никто не подозревал и от которых у детишек темнеет в глазах.

Не стоит забывать и о чисто физическом удовольствии от рукохождения и о павлиньих пятнах, оставляемых ковром на голых ладонях во время танцевальной части его номера: они казались отпечатками яркого, многоцветного Аида, первооткрывателем которого был Ван. В последнем его турне выступление завершалось танго, для которого ему нашли партнершу – кафешантанную танцовщицу из Крыма в очень коротком искристом платье с очень низким вырезом на спине. Она напевала мотив по-русски:

*Подъ знойнымъ небомъ Аргентины,
Подъ страстный говоръ мандолины...*

Хрупкая, рыжеволосая «Рита» (он так никогда и не узнал ее настоящее имя), хорошенькая караимка из Чуфут-Кале, где, как она ностальгически вспоминала, среди бесплодных скал желтел *кизилъ*, обладала странным сходством с Люсеттой, какой ей предстояло стать десять лет спустя. Во время танца Ван видел лишь ее серебристые туфельки, кружившие и переступавшие в ритме его проворных ладоней, остальное он добирал на репетициях, и однажды вечером пригласил ее на свидание. Она с возмущением отвергла приглашение, сказав, что обожает мужа (того самого гримера) и ненавидит Англию.

Чуз издавна славился как благочинностью своих правил, так и остроумием их озорных ниспровергателей. Личность Маскодагамы не могла не привлечь внимания университетских властей и сохраниться в тайне. Его наставник, дряхлый и строгий мужеложник, совершенно лишенный чувства юмора и слепо следующий всем условностям академической жизни, заметил взбешенному, но владеющему собой Вану, что в грядущем учебном году ему не удастся совмещать научные занятия с цирком и что если он решил стать циркачом, то ему при-

дется распрощаться с университетом. Пожилой господин этим не ограничился, а написал еще Демону, прося его убедить сына оставить эстрадные опыты ради опытов в области философии и психиатрии, тем более что Ван был первым в истории американцем, который выиграл (в семнадцать лет!) Приз Дадли (за эссе о «Безумии и Вечной Жизни»). Уезжая в Америку в начале июня 1888 года, Ван еще не решил окончательно, на каком компромиссе сойдутся гордость и благоразумие.

31

Ван вновь посетил Ардис-Холл облачным июньским днем 1888 года. Он приехал неожиданно, незванный, ненужный, с бриллиантовым ожерельем, без футляра, в кармане. Подходя к дому со стороны боковой лужайки, он увидел репетицию сцены для неизвестной картины из какой-то новой жизни – без его участия и не для него. Большой прием, похоже, подходил к концу. Три молодые особы в желто-голубых платьях от Васс (так называемые «yellow-blue Vass»), подпоясанные модными радужными кушаками, обступили полноватого, фатоватого, лысоватого молодого мужчину, стоявшего с фужером шампанского на веранде гостиной и глядевшего на голоруку девушку в черном платье: у крыльца седой шофер, нагнувшись, заводил кривой рукояткой старый двухместный автомобиль, который сотрясался от каждого его рывка, а эти разведенные в стороны бледные обнаженные руки держали белую пелерину баронессы фон Скалып, Адиной двоюродной бабки. На фоне белой накидки отчетливо выделялась новая, вытянувшаяся фигура Ады, облаченная в черное элегантное шелковое платье без рукавов, без украшений, без воспоминаний. Старая баронесса медлила, нащупывая что-то у себя под мышкой, сперва под одной, затем под другой – что именно? костыль? висящий конец спутанных бус? – и когда она повернулась, чтобы принять пелерину (уже перенятую у ее внучатой племянницы новым запоздавшим слугой), Ада тоже полуобернулась и, белея голой, еще не украшенной ожерельем шеей, взбежала по ступеням крыльца.

Ван последовал за ней в дом, проходя между колоннами холла, через группу гостей, к дальнему столу с хрустальными графинами вишневого амброзии. На Аде, вопреки моде, не было чулок, ее икры были белы и крепки, и (пользуясь заметками к невоплощенному роману) «низкий вырез черного платья подчеркивал резкий контраст между знакомой матовой белизной ее кожи и безжалостной чернотой „конского хвоста“ ее по-новому убранных волос».

Два обморочных ощущения, исключая друг друга, пронизывали его: глубокая уверенность, что как только он доберется в лабиринте кошмара до необыкновенно отчетливо запомнившейся комнатки с кроватью и детским умывальником, она воссоединится с ним во всей своей новой, гладкой, долгой красе; и, с другой, теневой стороны, – опасение и страх обнаружить в ней перемену, отвращение к его желаниям, осуждение их порочности и разъяснение ему новых ужасных обстоятельств – что они оба умерли или существуют лишь как статисты в доме, нанятом для кинематографических съемок.

Чьи-то руки, предлагавшие ему вино, или миндаль, или собственные пустые ладони, задерживали Вана на пути его сновидческой погони. Он не сбавлял шага, несмотря на наскоки узнавания: дядя Дан с возгласом указал на него незнакомцу, который притворно изумился необычности оптического трюка, – а в следующий миг перекрашенная, в рыжем парике, очень пьяная и слезливая Марина присосалась липкими от вишневого водки губами к его подбородку и другим незащищенным частям лица с придушенными материнскими звуками – полумычанье, полустон русской нежности.

Отделавшись от нее, он продолжил свои поиски. Ада уже перешла в гостиную, и по выражению ее спины, по напряженным лопаткам Ван знал, что она сознает его присутствие. Обтерев мокрое, гудящее ухо, он кивком ответил дородному блондину, приветственно поднявшему бокал (Перси де Пре? Или у Перси был старший брат?). Четвертая дева в кукурузно-василько-

вом летнем «творении» канадйской *couturiere* остановила его, чтобы, надув губки, сообщить, что Ван ее не помнит, и то была чистая правда. «Я страшно устал, – сказал он. – Моя лошадь угодила копытом в щель гнилой доски на ладорском мосту, и ее пришлось пристрелить. Я прошел восемь миль. Мне кажется, я сплю. Мне кажется, что вы мисс Транс». – «Нет, я Кордула!» – воскликнула она, но Ван уже шел дальше.

Ада исчезла. Ван отшвырнул тартинку с черной икрой, которую держал в руке, как билет, свернул в буфетную, велел брату Бута, новому камердинеру, сопровождать его в его старую комнату и принести туда одну из тех резиновых ванн, которыми он пользовался четыре года тому назад, когда был ребенком. И чью-нибудь запасную пижаму. Его поезд сошел с рельсов посреди поля, между Ладогой и Ладорой, и ему пришлось пройти двадцать миль: Бог знает, когда доставят его багаж.

«Только что привезли», сказал настоящий Бут с улыбкой, одновременно конфиденциальной и скорбной (его бросила Бланш).

Прежде чем принять ванну, он выглянул в узкое окно своей комнаты, далеко высунув голову, чтобы увидеть заросли лавра и сирени сбоку от парадного крыльца, откуда доносился веселый прощальный гомон. Он углядел и Аду. Она бежала следом за Перси, уже надевшим серый цилиндр и пересекавшим лужайку, – образ, немедленно вызвавший в сознании Вана мимолетное воспоминание о конском загоне, в котором Перси и Ван однажды обсуждали хромую лошадь и Риверлейн. Ада нагнала молодого человека на пятячке внезапно выглянувшего солнца; он остановился, и она сказала ему что-то, откидывая голову назад, как делала, когда бывала чем-то расстроена или недовольна. Де Пре поцеловал ее руку. Весьма по-французски, но ничего. Он продолжал держать ее руку, пока она говорила, и потом поцеловал ее снова, и это уже было слишком, это было отвратительно, нестерпимо.

Покинув свой наблюдательный пункт, голый Ван принялся рыться в сброшенной одежде. Вынул из кармана ожерелье. С ледяной яростью он разорвал его на тридцать, сорок сияющих градин, часть которых брызнула ей под ноги, когда она вбежала в его комнату.

Ее взгляд скользнул по полу.

«Что за жесты —», начала она.

Ван хладнокровно процитировал кульминационную фразу прославленного рассказа м-ль Ларивьер: «*Mais, ma pauvre amie, elle était fausse*» – что было горькой ложью; но прежде чем собрать рассыпанные бриллианты, она заперла дверь и, плача, обняла его – в прикосновении ее кожи и шелка заключалось все волшебство жизни, но отчего каждый встречает меня слезами? Он, кроме того, хотел бы знать, кем был тот человек, Перси де Пре? «Он самый». – «Которого вышвырнули из Риверлейна?» – «Вероятно, да». – «Как он изменился, разжирел, точно дикий кабан». – «О да, в самом деле». – «Твой новый любовник?»

«А теперь, – сказала Ада, – Ван прекратит вести себя как пошляк – я хочу сказать, прекратит навсегда! Потому что у меня был, есть и будет только один любовник, один дикий зверь, одна печаль и одна радость».

«После соберем все твои слезинки, – сказал он. – Не могу больше ждать».

Ее сочный поцелуй был жарким и трепетным, но стоило ему задрать подол ее платья, как она отступила, вынужденно отвергая его, поскольку дверь вдруг пришла в движение: два кулачка забарабанили в нее в хорошо знакомом им обоим ритме.

«Привет, Люсетта! – крикнул Ван. – Я переодеваюсь, уходи».

«Привет, Ван! Им нужна Ада, а не ты. Они хотят, чтобы ты спустилась, Ада!»

Один из Адиных жестов, используемых в случаях, когда ей требовалось быстро и безмолвно выразить все стороны своего затруднения («Видишь, я была права, вот как это бывает, ничего не поделаешь»), состоял в том, что она оглаживала обеими руками невидимую чашу, от верхнего края до основания, сопровождая это движение печальным поклоном. Именно это она и проделала, прежде чем выйти из комнаты.

Сцена повторилась несколько часов спустя в гораздо более приятной версии. К ужину Ада надела другое платье, из алого ситца, и когда они ночью встретились (в старой кладовой, при тусклом свете карбидной лампы), Ван с такой нетерпеливой силой расстегнул его змеевидный замок, что едва не разорвал платье на две половины, сразу обнажив всю ее красу. Они все еще неистово сопрягались (на той же скамье, покрытой тем же шотландским пледом, предусмотрительно прихваченным с собой), когда наружная дверь беззвучно отворилась, и внутрь, как опрометчивый призрак, скользнула Бланш. У нее был свой ключ, она возвращалась с рандеву со старым Сором, бургундским ночным сторожем, и замерла на месте, разинув рот, как дура, уставившись на молодых любовников. «В другой раз стучись», сказал Ван с ухмылкой, даже не подумав остановиться и скорее прельщенный чарующим видением: на ней была та самая горностаевая мантия, которую Ада потеряла в лесу. О, она удивительно похорошела, и elle le mangeait des yeux, – но Ада прихлопнула огонек светильника, и оплошавшая шлюшка со стонами раскаяния ощупью выбралась во внутренний коридор. Его настоящая душенька не могла удержаться от смеха; Ван вернулся к своей пылкой работе.

Они всё продолжали и продолжали, не в силах разделить, зная, что сойдет любое объяснение, ежели кому-то взбредет в голову спросить, отчего их комнаты пустовали до самого рассвета. Первый луч солнца окрасил свежей зеленой краской ящик с инструментами, когда они, выдворенные голодом, наконец встали и тихо убрали в буфетную.

«Что, выпался, Ван? – спросила Ада, чудно подражая русским интонациям своей матери, и продолжила на ее же курьезном английском: – By your appetite, I judge. And, I think, it is only the first *breakfast*. (По аппетиту твоему сужу. И, я думаю, это только первый завтрак.)»

«Ох, – проворчал Ван, – мои коленки! Эта скамья не знает жалости. И я „*hongry*“ (голоден)».

Они сидели друг против друга за столом для завтрака, жуя черный хлеб со свежим маслом, виргинской ветчиной и настоящим эмментальским сыром; а вот и горшочек прозрачного меда: двое веселых кузенов, «устроивших налет на лёдник», как дети в старых сказках, и дрозды сладко пели в ярко-зеленом саду, в котором темно-зеленые тени втягивали обратно свои когти.

«Моя учительница в театральной школе, – сказала она, – находит, что я больше подхожу для фарса, чем для трагедии. Если бы они только знали!»

«Здесь и знать нечего, – возразил Ван. – Ничего, ничегошеньки не изменилось! Но это лишь общее впечатление – там было темновато, деталей не разглядеть, мы их повнимательней рассмотрим завтра на нашем острове:

„Сестра моя, ты помнишь гору...“»

«Ох, прервати! – сказала Ада. – Я покончила со всей этой чепухой – *petits vers, vers de soie*...»

«Вот как! – воскликнул Ван. – А ведь некоторые рифмы показали настоящие чудеса акробатики, даром что были придуманы детьми: „*Oh! qui me rendra, ma Lucile, et le grand chêne and zi big хилль*“. Крошка Люсиль, – прибавил он, стараясь шуткой рассеять ее хмурость, – ах, эта крошка Люсиль стала такой милашкой, что я, пожалуй, переключусь на нее, если ты решила быть злокой, как сейчас. Помню, в первый раз ты рассердилась на меня, когда я бросил камень в статую и спугнул зяблика. Вот память!»

Ее память сейчас не в лучшем состоянии. Она думает о том, что сюда вот-вот придут слуги и тогда можно будет получить что-нибудь из горячего. В этом холодильнике хоть шаром покати.

«Ты отчего вдруг помрачнела?»

Да, помрачнела, ответила она, потому что она в ужасном положении и наверное сошла бы с ума, если бы не знала, что совесть у нее чиста. Проще всего объяснить иносказанием. Так вот, она как та девушка в фильме, который он скоро увидит. Ее героиня попала в тройную беду и

вынуждена страдать тайком, чтобы не потерять свою единственную настоящую любовь, наконец стрелы, острие боли. Втайне она одновременно борется с тремя напастьми, ей нужно прекратить унылый и вялый роман с женатым мужчиной, которого ей жалко; пресечь на корню – непокорно торчащем корню – безумную авантюру с неотразимым молодым дураком, которого она жалеет еще больше; и сохранить любовь единственного мужчины, в котором вся ее жизнь и который выше жалости, выше ее несчастной девичьей жалости, поскольку (как сказано в сценарии) его «я» богаче и горделивее любых представлений двух этих жалких червей.

А кстати, что она сделала со всеми своими жалкими червячками после безвременной кончины доктора Кролика?

«Ах, всех отпустила (широкий и неопределенный жест), опустошила клетки; куколки закопала, а прочих рассадила по подходящим кормовым растениям, наказав: бегите, пока птицы не смотрят, или, увы, делают вид, что не смотрят... Итак, чтобы покончить с этим иносказанием (поскольку ты ловко умеешь отвлечь и увести мои мысли в сторону), я тоже в некотором смысле разрываюсь между тремя личными муками, главная из которых, конечно, тщеславие. Я знаю, что никогда не стану биологом, моя страсть к ползучим тварям велика, но не безгранична. Я знаю, что всегда буду восхищаться орхидеями, и грибами, и фиалками, и ты еще увидишь, как я уйду одна, чтобы побродить по лесу, как я одиноко возвращаюсь с одной-единственной маленькой лилией; но и с цветами, сколь бы они ни были прекрасны, я покончу, как только соберусь с духом. Остается великое честолюбие и еще больший страх: мечта о лазурнейшей, отдаленнейшей, труднейшей театральной стезе, которая, вероятно, кончится, как у сотен других вяжущих свою паутину одиночек, – чтением лекций в школе драмы, – с сознанием того, что мы, как ты утверждаешь, мой безжалостный вестник, пожениться никогда не сможем, и удовольствие всегда иметь перед собой ужасный пример жалкой, второразрядной, бодрящейся Марины».

«Ну, замечание о старых девах – вздор, – сказал Ван. – Мы как-нибудь справимся с этой задачей. Мы будем постепенно становиться все более и более далекими родственниками в градуально и артистично подделываемых бумагах, пока наконец не станем обычными однофамильцами. А в худшем случае будем тихо жить-поживать: ты – моя экономка, я – твой эпилептик, и тогда, как у твоего Чехова, „мы увидим все небо в алмазах“».

«А ты их все подобрал, дядя Ваня?» – спросила она, вздыхая, склоняя печальную голову ему на плечо: она все ему рассказала.

«Большую часть, – ответил он, не понявший, что она сделала. – Во всяком случае, еще ни единый романтический герой так дотошно не изучал столь пыльный пол. Один блестящий маленький шлем закатился под кровать, где растет девственный лес из пуха и плесени. Отдам вновь нанизать их в Ладоре, куда поеду на днях – мне столько всего нужно купить: роскошный купальный халат, под стать вашему новому бассейну, крем „Хризантема“, пару дуэльных пистолетов, складной пляжный матрас, желателен черный, чтобы водить тебя – не на пляж, а на эту скамью и на наш *isle de Ladore*».

«Я только не могу согласиться с тем, чтобы ты выставял себя на посмеище, спрашивая пистолеты в сувенирных лавках, особенно когда в Ардис-Холле полным-полно старых ружей, винтовок, револьверов и луков со стрелами – помнишь, сколько мы упражнялись в стрельбе, когда были детьми?»

Ох, еще бы. Детьми, да. Как озадачивает, однако, это обращение к недавнему прошлому в терминах детской. Потому что ничего не изменилось, – ты моя, не так ли? – ничегошеньки, не считая мелких улучшений в темных аллеях и у нашей гувернантки.

О да! Обхохочешься. Ларивьерша-то расцвела на диво, заделалась великим писателем! Автор сенсационных канадских бестселлеров. Ее рассказ «Ожерелье» («*La rivière de diamants*») попал в хрестоматии во всех школах для девочек, а ее богатый псевдоним *Guillaume de Monparnasse* (отброшенная «t» придает ему большую *intime*) гремит от Квебека до Калуги.

Как она выразилась на своем экзотическом английском: «Fame struck and the roubles rolled, and the dollars poured (Грянула слава, и рубли забурили, и доллары хлынули)» – в то время в Восточной Эстотии имели хождение обе валюты; однако добрейшая Ида не только не оставила Марину, в которую была платонически и беззаветно влюблена еще с того дня, как увидела ее в «Билитис», но и корила себя за то, что забросила Люсетту, усердствуя на ниве Литературы. Теперь в припадках праздного рвения она посвящала девочке намного больше времени, чем бедняжке Аде (говорила Ада) в *ее* двенадцать лет, после ее первого (горестного) школьного семестра. А каким глупцом был Ван: заподозрил Кордулу! Невинную, нежную, безответную, маленькую Кордулу де Пре, хотя Ада объясняла ему, дважды, трижды, разными шифрами, что она *выдумала* развратную и ласковую однокашницу в то время, когда она была буквально *оторвана* от него, и лишь допустила, авансом так сказать, будто такая девочка и впрямь существует. Ей нужен был от него своего рода чек на предъявителя, без указания суммы.

«Что ж, ты его получила, – сказал Ван, – но теперь он погашен и возобновлен не будет. Но почему ты гналась за жирным Перси, что за срочность такая?»

«Ох, очень важное дело, – сказала она, слизывая каплю меда с нижней губы, – его мать позвонила, она ждала у дорофона, и он сказал: „пожалуйста, скажи ей, что я уже еду домой“, но я забыла это сделать и помчалась наверх, чтобы поцеловать тебя!»

«В Риверлейне, – сказал Ван, – мы называли это бубличной правдой: одна правда, ничего, кроме правды, и большущая дыра в середине».

«Ненавижу тебя», воскликнула Ада и состроила гримаску, которую называла «встревоженной лягушкой»: в дверном проеме возник Бутейан, без усов, без сюртука и без галстука, в кармазинных подтяжках, поднимавших до самой груди черные штаны, туго облежавшие его толстые ноги. Пообещав принести им кофе, он тут же исчез.

«Но позволь спросить тебя, дорогой Ван, позволь мне спросить тебя кое о чем. Сколько раз ты изменил мне с сентября 1884 года?»

«Шестьсот тринадцать раз, – ответил Ван. – С по меньшей мере двумястами шлюхами, которые только ублажали меня. Я остался совершенно верен тебе, поскольку то были лишь „Об-манипуляции“ (притворные, ничего не значащие ласки холодных, навсегда забытых рук)».

Дворецкий, теперь полностью одетый, принес кофе и гренки. И «Ладорскую газету». В ней была фотография Марины, перед которой заискивал молодой мексиканский актер.

«Тьфу! – воскликнула Ада. – Я и забыла. Этот приезжает сегодня с еще одним киношником, и наш день будет испорчен. Хотя я чувствую себя отдохнувшей и бодрой, – прибавила она (после третьей чашки кофе). – Еще только без десяти минут семь. Мы отправимся на чудную прогулку в парк, навестим одно или два местечка, которые ты должен вспомнить».

«Любовь моя, – сказал Ван, – моя призрачная орхидея, мой прекрасный пузырник! Я не спал две ночи – одну провел, воображая другую, а эта другая превзошла все, что я себе вообразил. Сейчас я сыт тобой по горло».

«Не слишком-то любезный комплимент», сказала Ада и звонко потребовала еще гренок.

«Я подарил тебе восемь комплиментов, как тот венецианец —»

«Не хочу слышать о пошлых венецианцах. Ты стал таким грубым, милый Ван, таким странным...»

«Прости, – сказал он, вставая, – сам не знаю, что говорю. Я падаю от усталости, увидимся за обедом».

«Сегодня обед не будет, – сказала Ада. – Будет толчея с пряными закусками у бассейна и сладкое пойло весь день».

Он хотел поцеловать ее в шелковистое темя, но вошел Бутейан, и пока Ада сердито отчитывала его за скудость принесенных гренок, Ван бежал.

Сценарий картины был готов. Марина, облаченная в полосатый халат из индийского муслина и соломенную шляпу-кули, читала его, расположившись в шезлонге посреди патио. Режиссер, Г. А. Вронский, пожилой, лысый, с седой шерстью на жирной груди, прихлебывая водку с тоником, скармливал ей по мере прочтения извлекаемые из папки машинописные страницы. По другую сторону от нее, на подстилке, скрестив мохнатые ноги, сидел Педро (фамилия неизвестна, сценический псевдоним забыт), отталкивающе-красивый, практически голый молодой актер с ушами сатира, раскосыми глазами и рысьими ноздрями, которого Марина привезла из Мексики и держала в ладорской гостинице.

Ада, лежавшая на краю бассейна, старалась обратить стыдливого дакеля мордой к камере, чтобы он при этом замер на миг в благопристойной позе, а Филипп Рак, незначительный, но, в общем, не лишенный таланта молодой музыкант, выглядевший в мешковатых плавках еще более унылым и неуклюжим, чем в костюме из зеленого бархата, в котором он давал Люсетте уроки фортепиано, пытался заснять и непокорное, щелкающее пастью животное, и почти полностью доступное его взору и объективу нежное раздвоение груди полулежащей на животе Ады.

Обратив кинокамеру к другой группе, стоящей чуть в стороне под пурпурными гирляндами арки, мы берем средним планом брюхатую жену молодого маэстро (платье в горошек), наполняющую широкие бокалы соленым миндалем, и нашу прославленную романистку, блистающую в лиловых оборках, лиловой шляпе и лиловых туфлях, которая занята тем, что пытается накинуть на Люсетту зебровую телогрейку, а та отстраняется, резко возражая подхваченными у служанки словечками, произнося их, впрочем, негромко, точно зная границы чуткости глуховатой гувернантки.

Отстояв неприкосновенность своей наготы, Люсетта осталась в одних ивово-зеленых трусиках. Ее эластичная гладкая кожа была цвета густого персикового сиропа, ее задок забавно вращался под тонкой тканью, солнце обливало ее рыжие собранные волосы и мягкое тело с едва заметными признаками женственности, и Ван, нахмурившись, со смешанными чувствами вспомнил, насколько более развитой была ее сестра в свои неполные двенадцать лет.

Он проспал большую часть дня в своей комнате; долгий, бессвязный, тягостный сон неостроумной пародией повторил его «по-казановански» бурную ночь с Адой и их чем-то неприятный утренний разговор. Теперь, когда я пишу это, после стольких низин и возвышенностей времени, я нахожу, что совсем не так просто отделить наш разговор, неизбежно стилизованный на письме, от монотонных жалоб на мерзкие измены, которые преследовали молодого Вана в его унылом кошмаре. Или это теперь ему снится, что он тогда видел сон? В самом ли деле гротескная гувернантка сочинила роман под названием «Les Enfants Maudits»? И вправду ли теперь легкомысленные манекены обсуждают создание его кинематографической версии? Чтобы сообщить ему пошлость даже еще большую, чем в самой этой Книге Недели и ее журчащих аннотациях? Была ли Ада ему столь же ненавистна наяву, как во сне? О да.

Теперь, в ее пятнадцать лет, перед нами совершенно неотразимая и безнадежно красивая девушка, к тому же довольно неряшливая. Всего двенадцать часов тому назад, в полумраке кладовой, он задал ей на ушко загадку: какое слово начинается с «дез», как Дездемона, в середине у него почти точное название реки в Силезии, а на конце английский муравей (ant)? Вкусы у нее были столь же экстравагантные, как и манера одеваться. Солнечные ванны, обратившие Люсетту в калифорнийку, нисколько ее не заботили, и ни малейший след загара не пятнал бесстыдной белизны ее длинных конечностей и худых лопаток.

Неблизкая кузина, больше уже не сестра Рене, даже не сводная (столь лирично преданная анафеме Монпарнасом), она переступила через него, как через бревно, и вернула озада-

ченного пса Марине. Актер, которому в следующей сцене с большой вероятностью предстояло получить кулаком в челюсть, отпустил грязное замечание на ломаном французском.

«Du sollst nicht zuhören, – шепнула Ада немецкому Даку, опуская его Марине на колени, под ворох „Проклятых детей“. – On ne parle pas comme ça devant un chien», прибавила она, не удостоив Педро взглядом. Последний тем не менее поднялся, поправил что-то у себя в паху и, одним прыжком Нуржинского опередив ее, бросился в бассейн.

Была ли она в самом деле красива? Была ли она хотя бы «привлекательной» (как это принято называть)? Она была самым раздражением, она была пыткой. Глупая девочка натянула резиновую шапочку, отчего ее шея приобрела незнакомый, смутно-больничный вид, с этими странными черными клочками и пучками волос, как если бы она получила место сестры милосердия и никогда больше не станет плясать и веселиться. На ее линиях сизом купальном трико было жирное пятно и дыра над бедром – проеденная, как можно было подумать, лакомой до сала гусеницей, – к тому же оно было слишком узким, чтобы она могла так беспечно двигаться и наклоняться у бассейна. От нее пахло сырым хлопком, подмышечным мхом и кувшинками, как от безумной Офелии. Будь они наедине, ни одна из этих мелочей не раздражала бы Вану, но присутствие утрированно-мужественной актерской особи все делало грязным, пакостным, нестерпимым. Наводим камеру обратно на край бассейна.

Наш молодой человек, будучи крайне *брезглив*, не испытывал ни малейшего желания разделить несколько кубических метров хлорированной celestino («окрашивает вашу ванну аквамарином») с двумя другими купальщиками. В нем определенно не было ничего японского. Он всегда с дрожью отвращения вспоминал внутренний бассейн своей частной школы, сопливые носы, прыщавые плечи, случайное прикосновение гнусной мужской плоти, подозрительные пузыри, лопающиеся на поверхности воды, а главное, главное, – того вкрадчивого, льстивого, ликующего и совершенно омерзительного паскудника, который, стоя по грудь в воде, сладостно и тайно мочился, и, Боже, как же Ван отколотил его, хотя этот Вер-де-Вер и был на три года старше.

Он старался держаться подальше от того места, куда могли долететь брызги, пока Педро и Фил резвились и фыркали в своем нечистом резервуаре. Но вот пианист вынырнул и, обнажив в плебейской ухмылке свои жуткие десны, попытался втащить в бассейн Аду, лежавшую на его широком кафельном крае. Она избежала щупалец его отчаяния, обняв большой оранжевый мяч, который только что вытащила на сушу, и, оттолкнув Филя этим щитом, бросила мяч Вану, который отбил его ударом ладони в сторону, отвергая уловку, игнорируя потеху, презируя игруню. Следом и волосатый Педро налег животом на гладкий край и принялся флиртовать с жалкой девчонкой (его пошлые знаки внимания в самом деле нимало не трогали Аду).

«Твою дырочку надо раккоммодировать», сказал он.

«Que voulez-vous dire, ради всего святого?» – спросила она вместо того, чтобы залепить ему пощечину.

«Дозволь мне касаться этой очаровательной пенетрации», упорствовал идиот, тыча мокрым пальцем в прорешку на ее трико.

«Ах, *это* (пожимая плечами и возвращая на место соскочившую из-за этого жеста лямку). Не стоит внимания. В другой раз я, может быть, надену мой сказочный новый бикини».

«Другой раз, может быть, Педро не быть тут».

«Жаль, – сказала Ада. – А теперь пойд и принеси мне кока-колу, как хороший песик».

«E tu? – спросил Педро Марину, проходя мимо ее шезлонга. – Еще водки с апельсиновым соком?»

«Угу, дорогой, только с грейпфрутовым и немного zuschero. Не понимаю, – обратилась она к Вронскому, – почему на этой странице я говорю как столетняя старуха, а на следующей – как пятнадцатилетняя девица? Ведь если это ретроспекция, а это, по-моему, и есть ретроспекция, то Ренни или как там его, Рене, не должен знать того, что он, кажется, знает».

«Он не знает! – воскликнул Г. А. – Это все лишь наполовину ретроспекция. Во всяком случае, этот Ренни, этот любовник номер один, разумеется, не знает, что она пытается отделаться от любовника номер два, и в то же время собирается с духом назначить свидание номеру три, землевладельцу, понимаешь?»

«Ну это что-то сложновато, Григорий Акимович», сказала Марина, почесывая щеку – она всегда предпочитала упрощать, из одного чувства самосохранения, много более сложные узоры собственного прошлого.

«Да ты читай дальше, все прояснится», сказал Г. А., теребя собственный экземпляр сценария.

«А кстати, – заметила Марина, – я надеюсь, что дорогая Ида не будет возражать, если он у нас станет не только поэтом, но и балетным танцовщиком. Педро восхитительно сыграет танцовщика, но никто не сможет заставить его цитировать французские стихи».

«Если начнет протестовать, – сказал Вронский, – то может пойти и вставить телеграфный столб – куда следует».

Неприличное слово «телеграфный» заставило Марину, втайне любившую грубые шутки, *покатиться со смеху вроде Ады*: «Нет, серьезно, я все еще не могу взять в толк, как и почему его жена – я говорю о жене второго любовника – смирилась с таким положением?»

Вронский развел руками и ногами.

«При чем тут положение? Она пребывает в безмятежном неведении об интрижке мужа, да к тому же сознает, что неказиста, как полено, и просто не может соперничать с бойкой Элен».

«Мне-то ясно, но не все поймут», сказала Марина.

Тем временем герр Рак вновь показался на поверхности. Он вылез к Аде на край бассейна, едва не потеряв при переходе от одной стихии к другой своих несуразных «транксов».

«Дозвольте, Иван, вам тоже вставить отличный холодный русский *кок?*», сказал Педро – на самом деле сердечный и вежливый юноша по натуре.

«Вставь-ка себе кокос», огрызнулся противный Ван, испытывая бедного фавна, который, ничего не поняв, счастливо хихикнул и вернулся к своей подстилке. Клавдий по крайней мере не домогался Офелии.

Печальный молодой немец пребывал в глубокой задумчивости, не без туманных мыслей о самоубийстве. Его ждало возвращение в Калугано вместе с беременной Эльзой, которая, как полагал д-р Рентген, «поднесет ему *дройню* через *дри* недели». Музыкант ненавидел Калугано, их с женой родной город, в котором однажды, в минуту «взаимного помутнения», дура Эльза отдалась ему на парковой скамье после чудесной конторской вечеринки в «Органах Музаковского», где жалкий похотливый болван имел счастье служить.

«Вы когда уезжаете?» – спросила его Ада.

«В *четвергер* – послезафтра».

«Хорошо. Это хорошо. Адье, господин Рак».

Несчастный Филипп сник, рисуя указательным пальцем на мокром камне пустыни печали, качая тяжелой головой и заметно всхлипывая.

«Человек порой чувствует... Человек чувствует, – сказал он, – что только играет роль и забыл свою реплику».

«Многие испытывают такое же чувство, – сказала Ада. – Это, кажется, называется *furchtbar*-чувство».

«Поддается лечению? Или нет надежды? Я умираю, да?»

«Вы уже умерли, господин Рак», сказала Ада.

Во время этого кошмарного разговора Ада украдкой озиралась по сторонам и наконец заметила отчетливого, взбешенного Вана, стоявшего далеко в стороне под тюльпанным деревом, с прижатой к бедру рукой и откинутой головой – пьющего пиво из бутылки. Она оставила свое место у бассейна с бездыханным телом на его краю и пошла к тюльпанному дереву по

стратегической кривой – между авторшей, все еще не подозревавшей, во что они превращают ее роман, и мирно дремавшей в парусиновом кресле (ее пухлые пальцы на деревянных подлокотниках казались выросшими розовыми грибами), и нашей примой, крепко задумавшейся над любовной сценой, в которой упоминалась «лучистая краса» молодой хозяйки поместья.

«Но, – сказала Марина, – как сыграть „лучистость“ и что вообще такое эта лучистая краса?»

«Светлая красота, – услужливо подсказал Педро, провожая Аду глазами, – красота, за которую многие мужчины отрубили бы себе члены».

«Окэй, – сказал Вронский. – Давайте покончим с этим треклятым сценарием. Он покидает патио у бассейна, и поскольку мы решили снимать в цвете...»

Ван покинул патио у бассейна и зашагал прочь. Он свернул в боковую галерею, которая вела в густо заросшую часть сада, незаметно переходившую в парк. Он заметил, что Ада старается его нагнать. Подняв локоть и показав черную звезду подмышки, она стянула резиновую шапочку и, тряхнув головой, высвободила стремительный поток своих волос. За ней спешила Люсетта, в цвете. Пожалев босые ступни сестер, Ван сошел с гравия дорожки на бархат лужайки (повторяя в обратном порядке действия д-ра Ероя, преследуемого Невидимкой-альбиносом в одном из лучших английских романов). Они настигли его во Второй Роще. Люсетта по пути остановилась, чтобы подобрать шапочку и солнечные очки сестры (о, эти девицы в темных очках) – разве можно так их бросать! Моя прилежная малышка Люсетта (я всегда буду помнить тебя...) положила оба предмета на пенек, рядом с пустой пивной бутылкой, побежала было вперед, но вернулась, чтобы осмотреть пучок розовых грибков, которые, посапывая, облепили пенек. Повторный план, двойная экспозиция.

«Ты так зол, потому что —», начала Ада, догнав его (она приготовила фразу о том, что ей приходится все же быть вежливой с настройщиком роялей, почти слугой, страдающим к тому же редкой сердечной болезнью и женатым на жалкой вульгарной особе, но Ван перебил ее).

«Протестую, – сказал он, чеканя слова, – против двух вещей. Брюнетке, даже если она неряха, следует брить передок, прежде чем выставлять его напоказ, а воспитанная девушка не должна позволять блудливому паршивцу тыкать ей пальцем в ребра, даже если ей пришлось надеть траченную молью вонючую ветошь, слишком тесную для ее прелестей. Ох! – добавил он. – Какого дьявола я вернулся в Ардис!»

«Обещаю, я обещаю быть осмотрительней и не подпускать к себе мерзкого Педро», сказала она, радостно и деловито кивая, выдохнув с большим облегчением, причина которого лишь много позже станет пыткой для Вана.

«Эй, подождите!» – завопила Люсетта.

(Пыткой, моя несчастная любовь! Пыткой! Да! Но все это забыто и мертво. Поздняя заметка рукой Ады.)

Они расположились живописным идиллическим трио на траве под огромным плакучим кедром, спутанные ветви которого нависали над ними пышным балдахином (там и тут они подпирались стойками из его собственной плоти, как и наша книга): под его сенью укрылись две черноволосых головы и одна золотисто-рыжая, что напомнило о темных влажных ночах, когда мы были безрассудными счастливыми детьми.

Охваченный воспоминаниями Ван лежал на спине, подложив руки под голову и шурясь сквозь густую крону на ливанскую лазурь неба. Люсетта с нежностью глядела на его длинные ресницы и сочувственно – на его тонкую кожу, усеянную горящими пятнами и темными колючками в том месте между шеей и челюстью, которое труднее всего было выбривать. Ада, склонив свой медальонный профиль, отчего вдоль белой руки скорбно повисли ее волосы кающейся грешницы (как бы отвечая плакучим теням кедра), отрешенно разглядывала желтую горловину сорванного ею восково-белого дремлика. Она ненавидела Вана, она его обожала. Он был жесток, она – беззащитна.

Люсетта, в своей неизменной роли назойливой, неугомонной и чрезмерно ласковой девочки, уперлась ладошками Вану в волосатую грудь и стала выпытывать, отчего он такой надутый.

«Не из-за *тебя*», ответил он наконец.

Она чмокнула его руку и вновь набросилась на него всем своим маленьким телом.

«Перестань! – сказал он, когда она прижалась к его голой груди. – Девочка, ты неприятно-холодная».

«Неправда, я горячая», возразила она.

«Холодная, как две половинки консервированного персика. А теперь слезай, давай-ка».

«Две? Почему две?»

«Да, почему?» – проворчала Ада, дрогнув от удовольствия, и, наклонившись, поцеловала его в губы. Он попытался встать. Девочки принялись целовать его поочередно, потом друг дружку, затем снова взялись за него – Ада в зловещем молчании, Люсетта – тихо повизгивая от удовольствия. Не помню, что натворили или сказали эти *Les Enfants Maudits* в повести Монпарнас, они жили, кажется, в шато Бриана, а начинается с того, что летучие мыши, одна за другой, вылетают из *oeil-de-boeuf* башни, в самый закат, но *этих* детей (которых новеллистка толком и не знала – милая деталь) можно было бы весьма увлекательно показать на экране, если бы неотступный, следящий за ними Ким, этот фотоманьяк с господской кухни, располагал бы подходящим аппаратом. Ужасно неприятно все это описывать, на письме все выходит таким неверным, непристойным, с эстетической точки зрения, но в этих последних сумерках (в которых мелкие художественные огрехи еще менее заметны, чем те очень быстрые нетопыри в бедной насекомыми оранжевой пустыне неба) я не могу не отметить, что маленькое влажное участие Люсетты скорее обостряло, чем приглушало неизбежный отклик Вана на легчайшие прикосновения единственной и главной девочки, действительные или воображаемые. Ада, чья шелковая грива обмахивала его соски и пупок, казалось, только рада была сделать все, чтобы нынче мой карандаш рывками продвигался по бумаге и чтобы ее невинная сестренка – в том абсурдно-далеком прошлом – заметила то, что Ван не в силах был скрыть. Двадцать щекочущих пальчиков весело просунули смятый цветок под резиновый поясok его черных плавок – украшение довольно сомнительное, да и сама игра была не только неуместной, но и опасной. Он страхнул с себя хорошеньких истязательниц и ушел от них на руках, в черной маске поверх торчащего карнавального носа. И в ту же минуту на лужайке, сопя и вопя, возникла гувернантка: «*Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ton cousin?*» – тревожно вопрошала она, а Люсетта, обливаясь теми же непроизвольными слезами, как однажды Ада, бросилась в ее лиловокрылые объятия.

33

Следующий день начался с мороси, но после обеда небо прояснилось. Хмурый герр Рак давал Люсетте свой последний урок фортепиано. Повторное ля-до-ре доплескивало до Вана с Адой, совершавших рекогносцировку в коридоре второго этажа. М-ль Ларивьер прохладилась в саду, Марина умчалась в Ладору, и Ван предложил Аде воспользоваться «звучным отсутствием» Люсетты, дабы уединиться в гардеробной верхнего этажа.

Там в углу стоял первый трехколесный велосипед Люсетты, полка над кретоновым диваном была полна детских «неприкасаемых» сокровищ, среди которых он заметил ту самую потрепанную антологию, которую подарил ей четыре года тому назад. Дверь не запиралась, но Ван больше не мог ждать, да и музыка, непрерывная, как стена, должна была звучать еще по меньшей мере двадцать минут. Он припал губами к Адиному загривку, однако его отзывчивая напарница вдруг замерла и подняла палец. С главной лестницы доносились тяжкие медленные

шаги. «Избавься от него», шепнула она. «Чорт», натянув штаны, выругался Ван и вышел к лестнице.

Филипп Рак совершал восхождение: его кадык ходил вверх-вниз, его синевато-багровые щеки были плохо выбриты, десны обнажены; одну руку он прижимал к груди, в другой сжимал рулон розовых листов, и все это унылое явление сопровождалось той же монотонной пьесой, звучащей, казалось, из механического устройства.

«Внизу, в холле, тоже есть уборная», сказал Ван, заключив или сделав вид, что он так заключил, что у бедняги рези в желудке. Но господин Рак желал лишь «проститься» с Иваном Демоновичем (прискорбно ставя ударение на второе «о»), с фройляйн Адой, мадемуазель Идой и, разумеется, с мадам. Увы, кузина с тетушкой уехали в город. Зато Фил, разумеется, найдет свою подругу Иду в саду, где она творит в окружении роз. Ван в этом уверен? Да, Ван, чорт подери, в этом совершенно уверен. Господин Рак с глубоким вздохом пожал ему руку, посмотрел вверх, посмотрел вниз, постучал по перилам своей таинственной розовой трубкой и побрел обратно в музыкальную гостиную, где Моцарт уже начал оступаться. Подождав немного, прислушиваясь и непроизвольно морщась, Ван вернулся к Аде. Она сидела с книгой в руках.

«Должен вымыть правую ладонь, прежде чем коснусь тебя или чего-нибудь еще», сказал он.

На самом деле она не читала, а нервно, сердито, бездумно листала страницы той старой антологии – *она*, которая в любое время, стоило ей только взять книгу, все равно какую, тут же погружалась в нее, ныряла «в главу с головой» естественным движением речного существа, возвращенного в родную стихию.

«Никогда в жизни не пожимал более влажной, вялой и мерзкой конечности», сказал Ван и, сквернословя (музыка внизу оборвалась), ушел в уборную при детской. Умывая руки, он глядел в окно и видел, как Рак, поместив в переднюю багажную корзину велосипеда свой бесформенный черный портфель, неуверенно тронулся в путь, на ходу сняв шляпу перед безучастным садовником. Этот напрасный жест непоправимо нарушил зыбкое равновесие неловкого велосипедиста – Рак с хрустом въехал в живую изгородь на другой стороне аллеи и упал в кусты. Целую минуту он возился в цепких зарослях бирючины, так что Ван уже успел подумать, что ему следует, пожалуй, прийти пианисту на помощь. Садовник повернулся спиной к больному или пьяному музыкантишке, который, хвала небесам, выбрался, наконец, из кустов, поднял велосипед и вернул свой портфель на место. Он медленно поехал прочь, и чувство какого-то смутного отвращения заставило Вана сплюнуть в чашу клозета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.